




РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА

—◆◆◆—
СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

—◆◆◆—
< н р з б >



ИЗДАТЕЛЬСТВО  ИНОСТРАНКА

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ



<НРЗБ>



Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО *И* ИНОСТРАНКА

НФ "ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

2002

УДК 882–31Гандлевский
ББК 84Р7
Г19

*Художественное оформление
и макет серии А.Бондаренко*

Гандлевский С.

Г19 <ПРЗБ> — М.: Иностранка, ИФ «Пушкинская библиотека»,
2002. — 184 с. — (Русская литература).

Проза С. Гандлевского, действие которой развивается попеременно то вначале 70-х годов XX века, то в наши дни — по существу история неразделенной любви и вообще жизненной неудачи, как это видится рассказчику по прошествии тридцати лет.

УДК 882–31Гандлевский

ISBN 5–94145–066–4 (“Иностранка”)

ISBN 5–94643–022–X (ИФ “Пушкинская библиотека”)

© С. Гандлевский, 2002
© “Иностранка”, 2002



Долго плутал он, Лев Криворотов, по коммунальной захламленной квартире в поисках выхода. Жилье было, по всему судя, пустым. Утварь, знакомая с детства по бабушкиной коммуналке на задах Арбата, — сундук, медный таз для варенья, пропахшая духами муфта, соседские гантели — попадалась на каждом шагу.

Может, это и была та самая арбатская квартира. И раз, и два, и три пробовал Криворотов какие-то двери, но одни оказывались заперты, другие вели в очередное ответвление коридора. Отчаянье не отчаянье, но беспокойство его усиливалось. Славянский шкаф замыкал собою один из тупиков коммунального лабиринта, и, желая перехитрить логику бредовых обстоятельств, Криворотов вошел в шкаф — в ружьядь и отзывающую нафталином ветошь. Вешалки-плечики колотили его по голове, но он развел руками одежду, шагнул из последних сил и вышел насквозь — в свет и воздух. Снаружи был ранний вечер, когда еще светло, но больше по старой памяти: свет набрал за день силу и пока не сник. Частый колокольный перезвон негромко сыпался с белесого неба и бродил по каменным, облезлым и разноцветным, как лоскутное одеяло, закоулкам и тоже чудом,

точно вечерний свет, не угасал, а, напротив, возрождался, повторяемый водой канала. К причалу за овальной диковинной площадью с маленьким бездействующим фонтаном подошел пассажирский катер, и они — Лев Криворотов и любимая до неузнаваемости женщина — по громыхающим железом сходням взошли на него. Катер был пуст и тотчас отчалил. Криво раскраивая зеленую зыбь, суденышко шествовало вдоль вереницы зданий, встающих прямо из воды. И тогда Криворотов нельзя теснее припал к своей спутнице и “я люблю тебя” — сказал то ли ей, то ли вообще, содрогаясь на каждом слове, — и проснулся.

Он полежал еще минуту-другую ничком, соображая что к чему, нехотя перевернулся на спину, спросонок бросил взгляд на остаточную эрекцию до пупа, подоткнул одеяло, чтобы не соприкасаться с сыростью на простыне, и потянулся за куревом. С незажженной сигаретой в углу рта замер, пытаясь сберечь душемутительное обаяние сна, пока не выдохлось. Какая счастливая мука, как сладко ноет внутри! Лучше всякой музыки, всяких стихов. Куда девается при пробуждении его сновидческий гений? Суметь бы наяву намарать что-нибудь подобное! Ведь есть же оно под черепом, есть, но как свихнуть мозги, чтобы облечь это дело без потерь в слова... У-у-у — Криворотов зажмурился от страсти к несуществующей покамест рукописи, лучшей красотою, бессмертием, силой. Господи, ну пожалуйста, я так редко прошу! Надо только очень постараться — и получится! Дайте срок, все вы у меня будете вот где — и Криворотов с веселым ожесточением показал кулак воображаемым маловерам, аж брякнули спички в коробке. А курить-то, курить кто будет? Криворотов чиркнул спичкой, затянулся и чертыхнулся — не тем концом. Сигарета была последняя, пришлось отломить опаленный фильтр и сделать вторую попытку. От затяжки натошак комната сня-

лась с места и тронулась вкруговую: дачная разномастная мебель, заляпанный апрельским солнцем кафель печи-голландки, приبلудная этажерка. Криворотов скосил глаза на будильник в головах дивана: 10.20 — значит, университет снова побоку. На одиннадцатичасовую электричку он уже опоздал, а позже — смысла не имеет. Ну и шут с ним. А женщина на катере, кто она? Не Арина же...

Арина, Арина, — душа стала меркнуть, как при воспоминании о позоре или долге, — Арина... Вроде совсем недавно проходу ей не давал, дежурил, дубея на морозе, у Ариногого подъезда, домогался ее с пересохшим ртом, а сейчас — духота и неволя. Пусть теплились еще и чувство кое-какое, и расчет на ее головокружительные связи, и гордость победой, и дружеское злорадство, что утер нос Никите.

Что правда то правда: хороша и ох как желанна была Арина попервоначалу — чуть блеклая красота, польская кровь, богемные замашки, своя в черт-те каких кругах и уже года два как безуспешно добивается разрешения на выезд из страны. Наконец, годится ему чуть ли не в матери — сорок два года, разница в двадцать с лишним лет, но с другой стороны... Стали почти невыносимы мелочи: скажем, дурацкая Аринина манера обращаться к нему на “вы” и звать то полным именем, то по фамилии даже в постели. “Вы, Лев...” — святых выноси. Или пальцы ее ног, обезображенные пристрастием к тесным туфлям на высоченных каблуках. Надо было как-то высвободиться из Ариновых жадных объятий, но пойти на попятный с каждым днем делалось все труднее.

А еще только в декабре дрейфил Криворотов, сопляком и посредственностью казался себе в ее присутствии! В просторном балахоне бедуинского толка, артистически рассеянная, прикуривающая одну сигарету от другой,

Арина, случилось, сживала в заднем ряду поэтической студии и нагоняла страх на желторотых лириков игрою бровей, выпячиванием нижней губы, красноречиво-отсутствующим видом, с которым она в случаях особенно провальных выступлений принималась пускать дым кольцами. Криворотов с Никитой глазам своим не поверили: настоящая женщина среди поэтической гоп-компании, художников от слова “худо”, почти сплошь неудачников и графоманов. И когда после завершения достопамятной читки по кругу незнакомка энергично пробралась к нему меж вкривь и вкось стоявших стульев и витиевато “испросила соизволения” взять его рукопись на дом, у Льва сел голос и он, покорно протягивая ей свои писания, что-то невнятно просипел, и пошел пятнами, и дотла сгорел от стыда оттого, что, вооруженный на миг вкусами, запросами и снобизмом салонной львицы, пробежал заново со скоростью падающего сердца не “лирику поэта Криворотова”, а на живую нитку зарифмованный исповедальный лепет студийца, завсегдажая жалкого по сути-то дела кружка литературной самодеятельности и третьекурсника-троечника Левы, неполных двадцати лет от роду.

— Все это, — сказала она, возвращая тетрадку распаленному автору через неделю жара и холода, — чушь собачья, но вы, скорее всего, гений. Если не загубите себя, а вы, судя по глазам вашим, можете...

Двадцатичетырехкопеечная общая тетрадь с пробамми пера тотчас, вспять и с перехлестом, предстала бесценным экспонатом музея-квартиры, автографом под стеклом с сигнализацией. Да-да, он не ослышался: Григорий, Елена, Никита, Илья, Йошкар-Ола. Кстати, о Никите: побледневший свидетель чужого триумфа, тот тоже не ослышался — веселила замеченная краем глаза на-

сильственная улыбка товарища. Криворотов торжествовал.

Каждое новое стихотворение, а писал он — так уж само аккуратно выходило — по одному в неделю, читалось Никите, лучшему другу и литературному сопернику. Или по средам разношерстной пишущей братии на студии Отто Оттовича, но этот суд в расчет не брался. Никита обычно выслушивал, глядя в пол, и, выслушав, мялся и что-то одобчительно мямлил — и в его отзывах чудились приятельское потаканье, возмутительная умеренность, до обидного невысокий полет совместного ученичества.

Положа руку на сердце, Криворотов устал от их дружбы, точнее сказать, от ее неравенства — дармового Никитиногo первенства по всем, почитай, статьям. В благовоспитанном отпрыске знатного советского рода уживались — без надрыва и, можно сказать, со вкусом — крамольные настроения и разглагольствования с вяло-покладистым отношением к даче на Николиной горе, персональной, с шофером дедовской “Волге”, теннису (почему-то “от Комитета по ценам”), завидному тряпью и прочим казенным привилегиям, которые Никитой воспринимались как должное. Белая кость! Откуда что берется: с участковым милиционером, уборщицей в забегаловке, продавщицей бочкового кваса Никита говорил тихо, приветливо — но без искательности и как власть имеющий. И совершалось чудо: мент, еще минуту назад требовавший предъявить “документики”, брал под козырек; карга со шваброй не костерила на чем свет стоит, а, величая “ребятками”, приносила с мойки искомый стакан; и бой-баба за мокрым лотком огромной грязно-желтой цистерны-прицепа мельком выделяла барчука из проstonародной очереди и вполголоса отсоветывовала брать

сегодняшние “помои”. Изредка Криворотов заходил к товарищу в сталинский небоскреб на площади Восстания и видел основоположника династии, знаменитого Никитино деда. Никогда бы не подумал Лева, что у этого барственно-шутливого старца-перса со слуховым аппаратом и в байковой домашней куртке руки, как утверждала молва, — в крови по локоть. Впрочем, Криворотов знал вдову одного сгинувшего в лагерях писателя, обязанную старому злодею отдельной квартирой в новостройке.

Сословное недоверие к другу усугубляла авторская мнительность Криворотова. Но теперь, когда Арина за просто поминала Льва наряду с головокружительными именами (“здесь вы как бы вторите натурфилософии Заболоцкого”), — открывались совсем иные горизонты, другая жизнь: получалось, что его взяла. И закадычный дружок Никита, в поэтическом, понятно, смысле, скорее всего, — пройденный этап. Хватит вчитываться в стихотворения товарища и сверстника, судорожно сглатывая. Оно конечно: тот рифмует “Испания-испарина”, а Криворотов “глаза-сказал”, у того — мифология, эффектная горечь и сам черт ногу сломит, какие метафоры, а у Криворотова — грусть-тоска и прочие нюни, атмосферные явления — дождь да снег, и простодушные “как”, “словно” и “будто” в каждой строке. Но вот ведь: в один прекрасный день находится-таки искушенная женщина, которую на мякине не проведешь, будь ты хоть трижды цацей и золотой молодежью с беглым разговорным английским!

Но и это не все! Не прошло и трех недель со дня знакомства с роскошной женщиной, как Криворотов обеспечил себе качественный перевес над денди из высотки: потерял наконец-то невинность, снисходительно оставив Никиту коротать молодость в бесталанной непорочности.

До поры они шли поздря в ноздря, то есть были товарищами по несчастью, хотя Криворотов и врал без зазрения совести о сногшибательном своем развороте на стороне. Никита же претерпевал некло воздержания в открытую, с показным хладнокровием и на зависть безболезненно: во всяком случае, лоб его и подбородок не украшали чувовищные багровые прыщи. И вряд ли, вряд ли опускался он до виноватого Левиного рукоблудия... И довольно об этом, молодца и сопли красят!

Десятки раз средь бела дня и на сон грядущий Криворотов смаковал свой подвиг. Дело было так. Целых три недели прошли в тщетных ухаживаниях, и Лев отчаялся. Ну, провожал до подъезда. Ну, встречал будто ненароком в девять часов утра в скверике перед Ариным домом у черта на куличках. Но встречи-проводы ничем и не могли кончиться: Арина жила с безумной старухой-матерью в однокомнатной квартире, а залучить Арину было некуда. Так что не от хорошей жизни начал Криворотов лихорадочные поиски одинокого пристанища, и вскоре забрезжило, с Никитиной, к слову сказать, подачи, нынешнее загородное жилище по май месяц включительно. Но тогда, в начале зимы, от изнурительного гона вхолостую Лев пал духом. Выручили лопнувшие от холодов трубы.

Полуподвал в Замоскворечье, где на птичьих правах обитала студия, затопило, и милейший руководитель, карлик Отто Оттович Адамсон, предложил, раз такая незадача, перекочевать на этот вечер к нему через реку с единственным, правда, условием: соблюдать тишину и порядок — соседи у него ангелы, но не следует злоупотреблять их долготерпением. Принято? Еще бы. И Отто Оттович вразвалочку заковылял во главе пестрого сборища по направлению к трамвайной остановке. Наивный человек! У двух-трех особо бедовых лириков сумки уже

гремели вином, скинулись и еще прикупили по дороге, пропуская мимо ушей кроткие вздохи доброхота-хозяина.

Ни вино, ни опьянение Криворотову не нравились вообще. В компаниях он прикладывался больше для виду, чтобы не выглядеть маменькиным сынком среди проспиртованного цеха. Считанные разы ему случалось перебрать, не без этого, но заканчивалось подобное ухарство всегда одинаково — паническим бегством к раковине или унитазу и тяжкими спазмами рвоты. Но в ту среду в компании с окнами на Солянку под шумное многоглаголение летящего под откос застолья Криворотов залпом, под горбушку черного хлеба, не в такт тостам и почти подряд маханул два стакана водки, собственноручно налитые с верхом. Потом он вперил скорбный укоризненный взор в сидевшую через стол Арипу, которая выдержала Левины скорбь и укоризну с выражением веселого интереса на умопомрачительно красивом сквозь табачный дым лице. Дальше в памяти Криворотова провалы чередовались с отрывочными воспоминаниями, отказывавшимися выстраиваться в хронологической последовательности. Криворотов видел вдруг, что Арина, посмеиваясь, фотографирует его в упор, а ему никак не удается сдвинуть взгляд с ее громоздких серебряных колец и браслета. В следующее короткое озарение, стиснув Арино запястье так, что браслеты причиняли ему боль, он, Лев Криворотов, с повадкой лунатика ведет женщину под громовый хохот присутствующих в смежную комнату, куда студийцы по приходе посбрасывали наспех свои пальто и куртки. Вот он тщетно пробует высвободить Арипу из тенет одежды. “Рвать-то зачем, — хриплым шепотом урезонивает его Арина, — займитесь собой, а раздеться я и сама сумею”, — и она снимает платье через голову. Все последующее отдавало сновидческой легкос-

тью и было как не с ним. И вот уже солнечно в незнакомой комнате, и Отто Оттович кладет ему свою морщинистую ладошку на плечо и говорит: “Лева, чай пить будете?” Криворотов озирается, морщась от головной боли, и с недоумением обнаруживает себя под чужим кровом, совершенно голым, если не считать носков и колкого пледа. Из форточки тянет морозом, Лев разом вспоминает вчерашнее — и зажмуривается. “Спасибо”, — отвечает он с восторгом.

И где все это теперь, куда подевалось?

Но еще долго Арина любовь была в радость. “Кто это, свет мой зеркальце? — мысленно окликал он себя по утрам под жужжание электробритвы. — Как, вы не знаете? Криворотов. Лев Криворотов, гениальный поэт. Молодой засранец, в сущности, а уже обзавелся любовницей, и еще какой! Настоящая, представьте себе, дама, многоопытная во всех смыслах. Ай да Криворотов, так держать!” Доброе-доброе небо подсупило ему счастливый билет! Надо же, разглядеть и отметить его — маленького, далеко внизу! Бог, что ли, есть? Получается, что есть. Как удачно все сошлось одно к одному, и он, а не кто-то там, — баловень и избранник! Но разве в глубине души Лева сызмальства не подозревал, что судьба у него и впрямь будет совсем другая, не то что у родителей, родительских друзей и его нынешних приятелей или университетских знакомцев? И если это — самое начало, како-во-то будет дальнейшее! Творчество, любовь, шедевры, период гонений, седина, фрак, Стокгольм, лауреатская речь — вот ведь на какую прямую он вышел! Вышел бы и своими силами рано или поздно, но Арина подсказала, открыла ему глаза на него самого. Славы хотелось очень. Только не известности, а именно славы — на всю железку, без полумер.

Комната внезапно померкла. Изю дня в день ближе к одиннадцати солнце уходило за гребень соседской крыши. И на минуту, на долю минуты в дневных потемках Криворотов увидел себя в невыгодном освещении: зимующим Христа ради на чужой даче, выглядящим даже моложе своих лет, худым и патлатым, с плохими зубами, еле-еле переползающим с курса на курс, сожительствующим с траченной жизнью экзальтированной женщиной, ну, положим, пишуцим что-то там в рифму — а кто же балуется литературой в первой молодости... Было, было во всем этом что-то, смахивающее на довольно французскую прозу прошлого столетия. Растиньяк, разбуженный поллюцией. Но Криворотов мигом сморгнул несимпатичное видение и с удвоенным ожесточением стал думать об Арине.

Получалось, что как ни крути, а угодил он в опеку. Хотел жить, как ему заблагорассудится, сбежал со скандалом на дачу от домашних, а взял сдуру да заполучил мамку. Арина пядь за пядью теснила его, занимала все больше места, осваивалась, тиранствовала, изводила ревностью. Ни с того, ни с сего могла нервически нагреть в любую минуту и нарушить его уединение. Предлоги для подобных вторжений выдумывались самые бредовые.

— Как, вы еще не повесились? Здесь же абсолютно депрессивное пространство, его надо срочно взорвать, — говорила она с порога, выволакивая на середину комнаты допотопный, с метр в диаметре, абажур, найденный на помойке.

Вот он, и по сей день валяется без применения. А в прошлую субботу...

— Работайте, работайте, считайте, что меня нет. Арине Вышневецкой просто взбрело в голову привезти

вам апельсинов. Блажь, разумеется, но полюбуйтесь на сочетание иссиня-белого и красновато-желтого, — и она вываливала содержимое пакета в снег у крыльца.

— У вас, Криворотов, кстати, маловато цвета в лирике, не находите? Это изъян, и немаловажный. Хотя... — она вдумчиво выпускала дым углом рта, — и графикой можно сказать много, даже слишком много, взять того же... — и на панибратски-уменьшительный манер называлось имя кумира и изгнанника. — Помню, как он разбушевался, когда я, молодая дура, ляпнула, как я это умею, что цвет ему в стихах заказан.

Но лестные параллели, напрашивающиеся по ходу подобных Ариных воспоминаний, с некоторых пор скорее бесили, чем льстили. “Работать” (слово-то какое!) до прихода Арины он не “работал”, а читал детектив в свое удовольствие, да и апельсины были кислыми, костистыми и плохо чистились. А раз уж она была здесь, все шло, как по писаному: чаепитие или скудное винопитие, выяснение отношений, ссора. За полночь, после обоюдных попреков Арина с поплывшим гримом порывалась, вопреки данностям железнодорожного расписания, уйти на станцию, случалось, что и доходила до полпути, когда, обуреваемый угрызениями совести и жестоким желанием, он нагонял ее, утешал, заговаривал ей зубы, вишился и увлекал обратно. Брели почти вымершим поселком. За заборами редких обитаемых дач брехали нешуточные собаки.

— Вот мы и дома.

Обивали на крыльце лысым веником снег с обуви, входили в тепло. Молча Криворотов набрасывался на нее, а Арина сопротивлялась вполсилы, распаяя его, чтобы наконец уступить с криками и стенаньями, наполнявшими сердце Криворотова самодовольством.

— Мне с тобой пугающе хорошо, — перейдя в рассеянности на “ты”, сказала она однажды после бурной близости.

Курила, заложив свободную руку за голову, а Криворотов украдкой смотрел на черную щетину у нее под мышкой и предчувствовал новый прилив силы. Обещала, что такой любовницы, как она, у него не будет никогда. Читала по тетрадке его новые стихи и на память старые. Если выпивала лишнего, что за ней водилось, декламировала низким, особым голосом “На смерть князя Мещерского” — и была великолепна. Раз ни с того ни с сего обронила:

— Вбила я себе в голову, что люблю искусство, а, может быть, это всего лишь щитовидка.

Когда Криворотов в недобрую минуту одолевал Арину ревнивыми дознаниями об ее интимном прошлом, выходила она из затруднения, отвечая вопросом на вопрос:

— Что бы вы хотели от меня услышать?

После очередной ссоры и страстного примирения воскликнула:

— По низости вашей милости главное-то я и забыла, из-за чего, собственно, и пришла! У меня для вас сюрприз, — и со значительным и торжествующим видом протянула ему фотографию. — Вот вам доказательство, мистическое, не надо морщиться, что союз наш...

Криворотов так и эдак повертел в руках нещадно засвеченный снимок, на котором, среди прочих смутностей, угадывался он, Лева.

— Брак вижу, а мистику нет.

— Именно что брак. Из тех, что заключаются на небесах. Поэт, называется, смотрите внимательнее. Снова не понимаете? Объясняю, бестолочь.

На Чистых прудах Арина сфотографировала известный дом с растительно-звериным орнаментом; она роди-

лась там и любила время от времени ностальгически побродить вокруг да около. Проявка обнаружила оплошность съемки: Арина забыла перевести кадр — витиеватый фасад в стиле модерн и голые кроны бульвара косо наехали на физиономию Криворотова, глядящего в объектив поверх рощицы пустых винных бутылок.

— До моего падения и вашей инициации остались считанные минуты. Но этого мало. Два окна на втором этаже — бывшие мои, а на третьем, прямо над моими, по иронии судеб проживает Виктор Чиграшов, ваш предшественник, в поэтическом смысле тоже.

— А еще в каком?

— Что бы вы хотели от меня услышать?

— Я думал, он уже умер.

— Типун вам на язык. Когда-нибудь нас вспомнят только за то, что мы дышали с ним одним воздухом.

Криворотов уязвленно смолчал. Уже не в первый раз он обнаруживал перед любовницей удручающие пробы в образовании. Прозвучавшее имя было одним из тех имен-паролей, знание которых выдает, мало сказать, знатока — посвященного. Криворотов был наслышан, но лишь в той мере, какая позволяет важно кивнуть собеседнику, но упаси Бог вдаваться в подробности — позорной путаницы и разоблачения не избежать.

— Лев, сдается мне, что до нашего знакомства вы были девственны во всех отношениях. Небось не читали? Вы вообще-то, кроме себя с Никитой, хоть кого-нибудь из современников всерьез воспринимаете? Большое упущение с вашей стороны не знать Чиграшова, даже грех. Филиппок вы этакий.

О, как, судя по всему, до самых глубин биографии была вовлечена эта женщина в захватывающие будни легендарного литературного поколения! И в продолжение всех

трех месяцев их с Ариной связи облик подруги двоился: то представляла она ему красавицей в пронзительную пору женского увядания, вхожей в черт-те какие сферы, то вздорным ментором в юбке и колготках с побежавшей стрелкой.

Сегодня на пять вечера назначено было у них встретиться, как обычно, у памятника Грибоедову: пошляться по бульварам до начала студии, а после сборища по обыкновению ехать к нему. Накануне Криворотова почти волновала предстоящая встреча (сказывалось недельное воздержание), но сновидение обдало его таким идеальным томлением, что об Арине не хотелось и помышлять. Тем более что в последнем телефонном разговоре она, интригуя голосом, вскользь упомянула об очередном сюрпризе, даже трех. Знала бы чаровница, как приелись ему ее чудачества (они же, впрочем, лишь умножали Арину прелесть в пору первой влюбленности)! Мало, что ли, назначала она ему телепатических свиданий то на Трафальгарской площади, то на южном склоне Карадага, то где-нибудь еще за тридцать земель? Надо отдать должное ее интуиции: Арина чутко и безошибочно определяла, явился он на место воображаемой встречи или нет. В последнее время Криворотов даже не утруждал себя запоминанием времени и координат подобных randevу — он был сыт по горло артистической блажью любовницы. Три без малого месяца назад, в день его двадцатилетия Арина приехала засветло с бутылкой шампанского. Распив вино, пошли, пока не стемнело, большим кругом по окрестностям. Стояли бесснежные, но морозные дни — зима не зима, осень не осень. “Большой круг” предполагал перекур на поленнице у крайней дачи поселка. Вид отсюда и впрямь открывался знатный. Просторный, выпукло-вогнутый, как огромная лопасть, луг достигал железнодорожной насыпи далеко-далеко внизу. Электрички, пассажирские поезда, товарные составы и дачная платформа на таком

расстоянии приобретали опрятный вид немецкой заводной игрушки. Имелась для полноты картины и церковь за путями, причем не какая-нибудь развалюха, а действующая, с яркими куполами. Ширь, даль, высь — нечто невыразимое. Заиндевелые останки травы шуршали под ногами, как папиросная бумага. Солнце склонялось к закату, и в створе бывшего в глаза низкого света стояла поодаль без движения корова, точно памятник корове.

— Памятник неизвестной корове, — уточнила Арина.

Тучи по-зимнему лиловой толпой шли в сторону заката. Электрическая желтизна вполнекала присутствовала в освещении и казалась цветом самого воздуха. Вдруг крупными хлопьями густо-густо повалил снег. Прямо в свалывшуюся траву луга и сухие стебли крапивы и чертополоха у поленицы, сидя на которой и дымя спутники дивились окрестным красотам.

— Это мой вам подарок к двадцатилетию, — объявила Арина.

Криворотов развеселился.

— Просто-таки купеческая расточительность. Вы ставите меня в неловкое положение, уж во всяком случае, не забудьте отпороть ценник. Для симметрии отблагодарю вас воздушным поцелуем, — он смачно чмокнул свою ладонь и дунул в пригоршню по направлению к Арине.

— Так легко вы не отделаетесь, и не надейтесь, — сказала она, тесно прижимаясь к нему и с плотоядным постаныванием впиваясь в его рот. — А вы, оказывается, меркантильны? Дайте срок, будет вам и менее эфемерный подарок.

Меркантильным Криворотов не был — вот уж нет. Ровню к сегодняшней среде, совпавшей с двадцатилетием и Никиты, Лев обегал пол-Москвы, пока не нашел-таки в

магазине театрального реквизита за немислимые по его масштабам деньги то, что искал: накладную бороду. Расставшись с эспаньолкой по требованию военной кафедры Института восточных языков, Никита сильно убивался, и Криворотов надумал утешить друга к юбилею окладистой кучерской бородой за неимением выбора. Жест был со стороны Криворотова, надо сказать, надрывно-альтруистический — сам Лев брился не от хорошей жизни: на его подбородке выросло нечто вовсе подростковое, и давешний Никитин клинышек частенько портил Льву настроение.

Так-то, сударыня, это вам не моционом с видом на корову откупаться от именинника и, говоря начистоту, оставили бы вы меня в покое — и чем скорее, тем лучше.

От черных дум Криворотова отвлек переполненный мочево́й пузырь.

Лев вышел на крыльцо, инстинктивно прикрыв срам ладонью. Предосторожность излишняя — сезон гарантировал безлюдье. Босиком по колкому мартовскому снегу Криворотов забежал за угол, улыбнулся на опаленный солнцем сугроб и принялся, облегченно подрагивая, сверлить его струей в полутора метрах от себя. У, хорошо. И сейчас хорошо, и будет хорошо, и вообще хорошо. Музыку заказываю я (пятистопный хорей, к вашему сведению). И он принялся за ежедневное омовение. Разбил пяткой наст, зачерпнул в обе горсти крупчатого колючего снега и принялся растирать себе грудь и лицо, норовя забросить пригоршню-другую на спину. Войдя во вкус самоистязания, он лег на живот в снег, а после перевалился навзничь. У-ух! — задохся он от холода и радости и, осклизаясь, скрылся в доме.

Теперь, когда он привел себя в порядок и почувствовал, что в жилах у него играет газировка, утреннее уны-

ние показалось ему странным. Предстоящий день обещал любимую занятость ничем, содержательное безделье — кропотливое созерцание: поселковых улиц и заколоченных на зиму выдавших виды дач; народа врассыпную на платформе в ожидании электрички; уродливых до стеснения сердца пригородов в окне вагона; оживления столыцы, на которое он, поэт и анахорет, любовался чуть свысока. Но превыше всего — точно в небе ударили в гонг — март, весна света, прибыль дня! И за этими заботами незаметно настанет вечер, и он придет в шумный полуподвал и в свой черед прочтет с деланным равнодушием, но мнительно косясь то на Никиту, то на Арину, то на Додика, последнее стихотворение, чудесное. И скромно сядет под порывистые аплодисменты на жэковский стул. Начало стихотворения ему особенно нравилось:

В последний час дневного освещения,
 Когда причины света неясны,
 Я вижу смерть не ужасом гниенья,
 А в образе стеклянной тишины... и тэ дэ

Освещение строфы, осенило Криворотова вдруг, в точности совпадало с освещением давешнего сновидения. Там тоже были неясны причины света.

Студию Лев, понятное дело, презирал, но посещал исправно.

Другой такой паноптикум еще поискать надо! Один к одному, как на подбор! Руководитель — душа-человек, но карлик и, по слухам, швед. Почему швед? Впрочем, кто его знает: Адамсон как никак — может, и швед, так даже интереснее. И во вкусе малютке Адамсону не откажешь: держит их с Никитой за гениев, в рот друзьям смотрит.

Перед началом заседания кто-нибудь подсаживает Отто Отговича на высокий табурет, не видимый за фа-

нерной кафедрой “красного уголка”. А уже в следующее мгновение с “камчатки” Додик Шапиро с ужимкой конферансье провозглашает намеренно гнусным голосом:

— На дворе идет дождь, а у нас идет концерт! Первый стул, начинайте, пожалуйста! Попросим!

С неизменным успехом.

А в прошлом узник совести Вадим Ясень с удивительно круглой и красной рожей, обрамленной очень черной и глупой бородой? “Вадик мертвого расколет”, — говорили о нем с веселым почтением. И действительно: он еще только направлял стопы к какому-нибудь простодушному лирику, а тот уже суетливо шарил по карманам в поисках отступного, словно обирался перед приходом костлявой. И плата взималась не зря. Про Вадика было известно, что он “выбрал свободу”, а если кто не знал о его своеобразном столпничестве, новичка драматическим шепотом ставили в известность и тот виновато раскошеливался. Никита и Лев на правах гениев обычно освобождались от добровольно-принудительных поборов. Да Ясень и сам робел приближаться к друзьям-поэтам в присутствии Арины, на дух не переносившей героя. Всякого вновь появляющегося в дверях студии Вадик встречал алкогольным экспромтом-двустихием:

Здравствуй, Отто Адамсон,
Не принес ли ты флакон?

Или:

Вот блистательный Давид!
Он меня опохмелит!

И ничего: с миру по нитке — к концу поэтического сидения Вадим Ясень на выпивку себе помаленьку нарифмовывал. “И волки сыты — и целки целы”, — такая была у него философия.

Послушать Вадика, выходило, что ему покоя нет ни днем, ни ночью от телефонных звонков и панибратских визитов официальных и опальных литературных знаменитостей. Недобрая молодежь, Лев с Никитой, в толк взять не могли, как и почему именно по средам Ясень манкировал столь блистательным обществом ради скромных до убожества сходов в полуподвале на Ордынке?

Во хмелю он грозился присмирившим студийцам, что том его стихов вот-вот выйдет в крамольном эмигрантском издательстве со знаменитой птицей-тройкой на титульном листе, и тогда многим дутым авторитетам недобровать.

— “Не надо, братцы, ждать шекспиров!” — декламировал Вадик из раза в раз вне очереди, ломая чинный порядок читки по кругу.

— Шапиров, — неизменно поправлял его из глубины зала Додик Шапиро.

Но Ясеня сбить было не так-то просто.

— “Шекспиры больше не придут”.

— Шапиры, — не унимался Додик.

— Мелочь пузатая, я требую тишины! — рывкал Выбравший Свободу и продолжал:

Мы, бедолаги и артисты,
Вам наготовили красот -
Стихов хороших лет на триста
И прозы даже на пятьсот.¹

Обычно на этой строфе какому-нибудь “братцу”, которому было категорически отказано в праве “ждать шекспиров”, удавалось оттянуть Ясеня за рукав с середины полуподвала и насильно усадить от греха подальше в

1 Цитируя по памяти, приношу свои извинения за возможные неточности.

угол, где “бедолага и артист” кипятился еще с минуту и засыпал. Последующее чтение шло под аккомпанемент Вадимова посапывания, а то и храпа.

А школьный учитель черчения из Электроуглей, рябой, в очках минус 10, коротающий досуги, если верить учительским виршам, за тантрическим сладострастием — один на один со своим ненасытным гаремом? И ведь что ни среда прется в этакую даль, горемычный!

А чего стоит пишущий пролетариат! Жэковские водопроводчики-самородки, не поддающиеся различению и учету, потому что все они кажутся точной копией один другого и сидят совершенно одинаково, как каменные. Для простоты и удобства Никита с Криворотовым порешили звать водопроводчиков оптом — Ивановым-Петровым-Сидоровым. Работяги посещают студию в качестве вольнослушателей, но кто-то из них время от времени прорывается прочесть во всеуслышание написанную в суровую годину войны поэму “Чарка”. Умора.

А взять того же Давида Шапиро, Додика? Любимец и украшение студии, умница и зубоскал. Он пишет хокку, исключительно черными чернилами, причем ученическим пером. Сочетание экзотической формы и кондово-отечественного языка придает его писаниям тонкое трагикомическое обаяние. Но этого мало. Из каждого листка с начертанным на нем трехстишием Шапиро мастерски в один присест складывает оригами и опускает бумажного журавля в обувную коробку, называемую отныне “птичьим базаром” или “птичником”. Когда в коробке скапливается восемьдесят восемь “птиц”, а пишет Додик нечасто, “птичий базар” можно пускать по рукам для прочтения. Порядок извлечения “птиц” из коробки автором не оговаривается, и следовательно, по замыслу Додика, в одном “птичнике” уживается астро-

номическое число смысловых “стай”. Так, по убеждению Шапиро, случаю, а если угодно — промыслу, открывается доступ к сотрудничеству с поэтом в создании практически бесконечной “Книги птиц”, писать которую Давид намерен всю жизнь. В соавторстве с Божественным провидением, разумеется.

Творческий метод Додика делал затруднительным его участие в будущей антологии, но и обойтись без Додика было никак невозможно. Порешили вклеить в каждый экземпляр издания несколько “журавликов”, чтобы дать читателю представление о манере Шапиро, а остальные хокку напечатать в расплавленном общепринятом виде.

— И волки сыты, и целки целы, — с присущей ему прямоотой откомментировал данное соломоново решение Ясень. Он-то откуда узнал об антологии?

Начинание держалось в строжайшем секрете, но почему-то чесали языками на этот счет встречные и поперечные — вот и Вадик туда же. Цель антологии была простая и благородная: повернуться для симметрии задом к официальной печати вместо того, чтобы смотреть выжидательно ей в спину, и обзавестись собственным изданием, пусть попервоначалу с тиражом в 12—16 экземпляров (три-четыре закладки на пишущей машинке под копирку). Идея пришла в голову то ли Додику, то ли Ари-не; во всяком случае, не небожителям Льву и Никите.

Щекотливым делом представлялось утверждение состава участников первого номера, для чего и понадобилась секретность. Первый номер должен был получиться без сучка без задоринки. Чтобы внезапно задать шороху. Чтобы все пригнулись. А стоящих дарований, как и всего хорошего, раз-два и обчелся. Ну, понятное дело, Лев с Никитой. Ну, Додик. Может быть, парочку-другую верлибров-медитаций взять у Отто Оттовича, не обижать же

старика. Эротомана-чертежника, пьянь Вадима и прочих студийных графоманов надо отшить всеми правдами и неправдами: без сопливых обойдемся. Словом, названия еще не придумали, авторский состав и объем не утрясли, издательская база, то бишь пишущая машинка, бумага, переплетные работы тоже были под вопросом — оставалось начать и кончить.

Арина уже ждала Криворотова у памятника, правда, стояла ко Льву спиной, и он, чтобы загладить вину за утренние дурные мысли, тихо подошел сзади и закрыл ей глаза ладонями.

— Теряюсь в догадках, неужто сам Грибоедов? — не оборачиваясь, сказала она, отняла от лица Левины ладони и щекотно поцеловала в каждую.

— Шик, — одобрил Криворотов новый Аринин наряд: шаль в цыганских розах, наброшенную на плечи поверх черного до пят пальто шинельного кроя. Взявшись за руки, пошли в сторону пруда. Каток превратился в слякоть и бездействовал. По талому месиву неприкаянно бродил черный пуделек. Сильно пахло пресной водой. В голых кронах тяжело трепыхались вороны.

— На счастье, — сказала Арина и стерла клочком бумаги птичий помет с рукава Левиной куртки.

Сели тесно бок о бок, как на насест, на спинку лавочки — ногами на сиденье в грязной наледи. Перехватив взгляд, брошенный Криворотовым на прохожие длинные ноги в капроне, Арина внятно произнесла:

— Жи-вот-но-е.

И процитировала, как цитировала всегда в таких случаях и с одной и той же недоуменно-брезгливой гримасой:

— “Я не ревную, мне просто противно”.

Криворотов сладко потянулся.

— Ну, как вы, — спросила Арина, — что сегодня прочтете у Отто? Мы не виделись целую неделю, я сучала, а вы?

Криворотов сдержанно кивнул и прочел последнее стихотворение.

— Потрясающе, — сказала Арина после выразительного молчания, — будто во сне. Растете не по дням, а по часам.

Растроганный Криворотов хлопал себя в поисках спичек. Арина курить отказалась.

— Что вдруг?

— Начала с понедельника новую жизнь.

Она принялась сосредоточенно рыться в брезентовой самодельной торбе, вечно болтавшейся у нее через плечо. Долго и беспорядочно перебирая содержимое сумки — мятые бумажки с адресами и телефонами, носовой платок, ксерокопию “Голема”, косметичку, — извлекла, наконец, что-то, обернутое в обрывок простыни.

— Это вам. Обещанное. Теперь у вас полный джентльменский набор: молодость, талант, мое разбитое сердце и... На всеобщее обозрение выставлять совсем не обязательно! — голосом и движением руки предостерегла она Криворотова, который с озадаченным лицом расплывался нечто маленькое и увесистое. Криворотов пропустил предостережение мимо ушей, распеленал *это* на коленях и, не поверив своим глазам, тотчас накрыл тряпичей.

Револьвер. Настоящий. Лев приподнял ткань: маленький, цокающий барабаном, пятизарядный. То, что облицовка рукоятки была сколота с края, только придавало оружию убедительности, лишало сходства с игрушкой. Ай да Арина! Лев полез целоваться.

— Спрячьте и никому не показывайте, — сказала Арина. — Семейные, можно сказать, реликвии разбазариваю. Из него папенька мой, Болеслав Вышневецкий, стреляться пробовал. И не просто, а опершись на белый кабинетный рояль. Вот как в старину дела-то делались, учитесь.

— И что, удачно?

— Как же! Живет прилеваючи — дай ему Бог здоровья — по сей день. Женился в третий раз. А вот бедную маму мою уходил своими художествами до ее нынешнего плачевного состояния. Сволочи вы, мужики.

— Не обобщайте: “живущий несравним”.

— Это мы увидим: сравним или несравним, — и Арина посмотрела на Леву внимательно, как впервые. — Задарю я вас, Криворотов, сегодня. Вот вам и второй знак внимания, впрочем, с возвратом, только для ознакомления, — и она протянула Леву картонную папку с тесемками, — это стихи Чиграшова, под окнами которого мы сейчас с вами рассиживаем. Берегите, как зеницу ока: сие перл моего архива и “томов премногих тяжелей”. Потерпите до дома, закройте — Чиграшов требует уединения.

Но Криворотов не больно-то и рвался углубляться в чтение подслеповатой копии, потому что его до неприличия волновал и веселил револьвер, холодящий бедро сквозь натянутый карман. Лев силился согнать с лица глупое мальчишковое сияние. Подмывало рассматривать и трогать оружие (“ствол”!) снова и снова, но было боязно: бульвар на глазах заполнялся людьми — близился час пик.

— А что у нас “на третье”, речь шла о трех дарах? — спросил Криворотов только для того, чтобы за болтовней скрыть свой постыдно-ребяческий восторг.

— “На третье?” — протянула Арина с потерянной улыбкой. — Ну, держитесь. Я тут собралась вам, Криворотов, сына родить. Да вы не пугайтесь, аж побледнел

весь. Пошутила. Пошутила, что вам. Себе, себе исключительно. Подъем, горе мое, к Отто опоздаем.

Подошел трамвай. Вот тебе и фрак, вот тебе и Стокгольм. Уже светила Криворотову совсем другая церемония. Бодрясь для сохранения лица и избегая встречаться с Ариной взглядом, Лев апатично глядявался в разом обмелевшую даль своего внезапно подступившего грядущего. Тусклый ЗАГС с пузырящимся линолеумом. Свидетель со стороны невесты — карлик в черном костюме, со стороны жениха — подчеркнуто спокойный Никита с чертиками в глазах или паясничавший Додик. Маленькая Левина мама с большим букетом громко всхлипывает, сжимая в кулачке насквозь мокрый носовой платок. Вкатывают будущую тещу в инвалидной коляске. Она утробно воркует от стариковского слабоумия и, кривясь, тревожится, что не попадет в кадр, потому что плешивый балагур-фотограф уже примеривается перед нырком под траурную материю, ниспадающую с ритуальной треноги.

— Жених, не спать — замерзнешь, — голосит он развязно и щелкает пальцами, привлекая внимание поногого Левы, — держим хвост пистолетом! Смотрим все сюда, улыбочка шире, что за похоронные настроения?

Арина Криворотова, в девичестве Вышневецкая, с огромным животом, сияющая от хищного торжества, прилежно внемлет проповеди депутата в кумачовой перевязи. Молодые меняются кольцами, молодые целуются, родные и близкие покойного спешат поздравить молодых. Криворотов-старший стоит поодаль, играя желваками: ему стыдно быть неудачником и отцом неудачника. Вдруг, пугая внезапностью, истощный Мендельсон начинает биться в эпилептическом припадке. Фото, Мендельсон, Отто Адамсон. Фотто Адамсон, ото Мендельсон — так тоже неплохо.

А дальше — как по маслу. Лев Васильевич Криворотов — старая развалина лет сорока, школьный учитель словесности на полторы ставки (а чтобы сводить концы с концами, правит и комментирует труды какого-нибудь маститого жлоба). Арина — корректор-надомница, день-деньской нечесаная, в халате и шлепанцах, с неизменной сигаретой во рту. Дома у четы Криворотовых — итальянский гвалт и теснота, колоритный ад, пеленки младших, свисающие с бельевых веревок вдоль и поперек жилища, хлещут по голове, кордовые модели старших хрустят под ногами. Белый рояль, ау? Лев Криворотов готов последовать примеру высокородного пана Болеслава.

— Криворотов, не кисните, мы приехали! Полюбуйтесь-ка лучше на нашего тихоню.

Криворотов очнулся и глянул, протискиваясь к передней площадке, в трамвайное окно. Трамвай поравнялся с Никитой, шествовавшим в понятном направлении и увлеченно болтающим с незнакомой девицей. Двери открылись, Криворотов и Арина вышли и, взявшись за руки, преградили дорогу Никите и его спутнице. Никита, как всегда, нашелся:

— Вот и солнце нашей поэзии подкатило на лихаче, привет, Лева. Легко на помине. Я как раз рассказываю Ане всякие небылицы про нас с тобой. Здравствуйте, Арина. Знакомьтесь.

— Лева.

— Анна.

— Анна.

— Арина.

Ничего особенного. Лет двадцати—двадцати двух, длинноногая, стрижка каре, белобрысая. Русая, если быть точным. Большой рот, откровенно обведенный губ-

ной помадой, зато без грима серо-зеленые глаза. В углу рта лихорадка. Не крокодил, но и не красавица. Но все равно досадно.

— Никита, — провозгласила Арина, — ваш приятель сегодня не в лучшей форме, простите великодушно. На Чистопрудном ронял слюни вслед каждой юбке, а сейчас пожирает глазами вашу приятельницу, вместо того, чтобы поздравить друга с юбилеем, дайте я вас поцелую. И хорошо бы прибавить шагу.

Прибавили. Криворотов на ходу ошибся карманом, наткнулся на револьвер и с заминкой извлек из другого кармана накладную бороду. Презент ожидаемого эффекта не произвел. Никита на ходу же развернул оберточную бумагу, мельком глянул на подарок, хмыкнул в знак благодарности и продолжал заговаривать зубы своей крале, чуть обогнав Льва и Арину. Свернули в нужную, вторую, подворотню, спустились по знакомым ступеням и оказались в полуподвальном помещении на Ордынке.

И все пошло разыгрываться, как по нотам, лишь одна и та же клавиша упорно западала, один непонятный изъянец был неотвязно различим в милой сердцу Криворотова студийной какофонии. Вадим Ясень, как водится, завел:

Неужели вижу Льва?
Дай скорее рупь иль два!

Криворотов выгреб из кармана и отсыпал ему копеек семьдесят: все-таки приятно, когда тебя держат за своего. Додик Шапиро, хасид-хасидом в косо нацепленной Никитиной бороде, блял, облапив Аринину талию:

— Аринушка, я царь или не царь?

Иванов-Петров-Сидоров вчетвером-впятером расставляли стулья аккуратным полукругом. В углу молча

толпилось несколько шапочно знакомых старшеклассников, завсегдаев Адамсоновых сред. Были и чужаки, ленинградские, по слухам, гастролеры. Учитель черчения наседа на Отто Оттовича, видимо, делился с кротким карликом свежими честолюбиво-завиральными планами по части взятия твердыни официальной литературы. А у противоположной стены — и именно это, это, это причиняло беспокойство — Никита, уперев руку в стену, нависал над новенькой и говорил, говорил без умолку, как заведенный. А она, прислонясь спиной к стенду с социалистическими обязательствами и стенной газетой к 8 марта, как последняя дура, млела от трепла похотливого хлюста и изредка прыскала.

— Глаза не боитесь сломать? — пересекая помещение в обнимку с Додиком, вполголоса сказала Арина, — и протянула Льву уже початую бутылку “Club 99”, пущенную по кругу именинником Никитой. Криворотов отхлебнул и, не глядя, передал спиртное кому-то сзади.

Господи, какой славный был день чуть ли не час назад, и вдруг все пошло насмарку: сперва Аринина угнетающая новость, а теперь еще, пожалуй, хуже — наглое воркование счастливой парочки. И что уж такого замечательного находит в речах фатоватого барчука эта пустышка? Чему она там у стены улыбается во все свои шестьдесят четыре зуба? Невыносимо. Уйти, уйти немедленно, раз жизнь так унизила его. Не стоять здесь прыщеватым посмешищем, не давать повода Арине и Никите торжествовать.

Но тут Отто Оттович троекратно хлопнул в морщинистые ладошки.

— Друзья, рассаживаемся, мы уже непростительно припозднились, — и вскарабкался на стул за кафедрой.

Занятие началось. Длинно, темно, изможденно и точно делая публике одолжение, читали приезжие. Но

Криворотов слушал вполуха, да и не слушал вовсе, поглощенный скрытым наблюдением за Никитой и Анной, сидевшими наискось от него, перед пролетариатом. Отвлек Леву от сосредоточенной слежки гнусавый голос Додика:

— Читка продолжается, граждане, попросим второй стул!

Все обернулись на Криворотова. Действительно, его черед.

Дважды — утром и недавно на бульваре — отрепетированное стихотворение начисто улетучилось из памяти, пропали даже первые слова. Пришлось, краснея, полезть за списком в задний карман и абы как отбарабанить с листа, подняв глаза от бумажки лишь “под гору”, на последней строфе:

Я точкой таю в куполе глубоком,
И в горле ком стоит от синевы.
Душа ушла и стала солнцепёком
И девушкой на том краю Москвы.

Весь в пятнах Лев побрел на свое место. Это был провал — раздалась два-три жидких хлопка, лишь Арина подавала ему из-за голов школьников знаки одобрения. Криворотов плюхнулся на стул.

— Как у вас ГБ, борзеет? — ни с того, ни с сего спросил его сосед слева, эмиссар вольных поэтических кругов Ленинграда.

Криворотов только собрался ответить что-нибудь столь же залихватское, как ему передали записку. “Послушай, пожалуйста, — размашисто писал ему Никита, — Анины стихи. И вообще, и с прицелом на антологию. По-моему, очень даже ничего”.

Новенькая как раз выходила на чтецкое место и, судя по всему, нимало не робела. Читала она по блокноту и негромко, как-то на особый лад произнося шипящие. Речь в стихотворном цикле шла о незадавшейся любви. Лирическая героиня свысока и несколько пренебрежительно отзывалась об утраченном возлюбленном, потому что тот предпочел будням взаимного любовного мятежа какую-то тихую заводь. За малодушие горе-любовник был даже назван “милым зайцем” (в рифму к “бояться”!), а “бояться”, по мнению героини, именно что и не следовало. Разумеется, в свой срок поминались и глоток вина, и бессонные ночи, и подруга настольная лампа. Не обошлось и без туманных обещаний пустить в ход кое-какие сверхъестественные способности обманутой в своих ожиданиях любовницы (очевидно, имелись в виду ее короткие связи с силами тьмы). На прощанье лирическая героиня аттестовала себя как беззаботную циркачку. Или рыбачку. Лев не расслышал, ибо поспешил злорадно воззриться на Никиту. Но ни единый мускул не дрогнул на лице товарища. Аринино “Пф-ф-ф-ф!!!” откуда-то сзади было настолько демонстративным и красноречивым, что Отто Оттович сердито наморщил высокое чело. Но невозмутимая поэтесса под умеренные рукоплескания уселась рядом с Никитой. Никита, поскольку очередь выступать дошла до него, поднялся и процедил с одной из своих козырных нагло-застенчивых улыбок, что сегодня он, пожалуй, воздержится от чтения: не хочет смазывать впечатления от чуждых (он так и сказал “чуждых”) произведений предыдущего автора.

Да и возымей лукавый Никита желание прочесть стишок-другой — вряд ли ему или кому-нибудь еще теперь удалось бы произнести хоть одну-единственную строфу, потому что, бабахнув дверью, на пороге студии стоял и грозно раскачивался Вадим Ясень.

— Требую немедленно перейти к водным процедурам! — возопил он.

Вадим, верно, еще в начале вечера изрядно и на старые дрожжи приложился к дармовому виски и, окрыленный случившимся, нашибал денег у школьников и прирезжих пиитов — и вот вам результат: нетверд на ногах, зато полна авоська портвейна.

— Все чествуем Никиту, сволочи! — не унимался Вадим Ясень. — Неукоснительно, без различия возраста и пола!

Аня прыснула, Никита подставил местный выдавший виды стакан под накрененную бузотером бутылку.

— Дело! — сказал ленинградский эмиссар слева от Криворотова.

— Ну что ж, — вздохнул милейший Отго Оттович, — “так жили поэты”.

И пошло-поехало. Додик пил в углу обратно на “вы”, а потом снова на “ты” с похохатывавшей Ариной. Осмелевший после двухсот грамм “бормотухи” представитель рабочего класса читал-таки свободолюбивым горожанам Северной Пальмиры поэму “Чарка”, в то время как трезвенник-учитель из Электроуглей без выражения скандировал заинтригованным школьницам свои тантрические октавы. А зачинщик попойки, мятежный Вадим Ясень, на заплетающихся ногах добрал до ближайшего стула и, слегка поддерживаемый за талию каким-то невесть откуда взявшимся собутыльником и соратником, рухнул на обитое дерматином сиденье и тотчас лишился чувств. Печальный Криворотов чокнулся с Никитой крепленным зельем и вышел покурить на улицу.

Совсем смерклось. И можно было, если отучить глаз от грубого фонарного света, углядеть, подняв лицо, некрупную и бледную городскую звезду в мартовском небе с зелен-

дой. Что Криворотов и сделал, потому что любил все это. А потом еще помедлил малость, собираясь с духом, прежде чем вновь спуститься в подвал для участия в немилом что-то по сегодняшнему Левиному настроению шумном сборище.

Но за короткое время, пока Криворотов курил, кое-что в помещении “красного уголка” изменилось к лучшему: Никита и Анна уже не болтали душа в душу, словно они одни на целом свете, а препирались. Криворотов, боясь сглазить проблеск везения, опасно приободрился. Никита обескураженно просил о чем-то свою собеседницу — та отвечала ему отрицательным покачиванием головы. Широкими, но сужающимися кругами Лев стал подкрадываться к этой паре. Хитрость заключалась в том, чтобы маскировать цель своего кружения от Арины и, не выпуская из виду Аню с Никитой, одновременно держать в поле зрения и бдительную любовницу, которая “вела” Криворотова от входной двери (его недолгое отсутствие, знамо дело, не осталось незамеченным). Попутно Арина не прекращала мнимо заинтересованного разговора с карликом. Для отвода глаз Лева присоединился к пустившим бутылку по кругу ленинградцам впремешку со школьниками. Эмиссар заливал раскрасневшимся от восхищения и зависти недорослям, как еще буквально вчера к нему ночь напролет ломились в квартиру с обыском, а он, попивая винцо, преспокойно жег в тазу подрывную литературу.

— П...йшь, — сказал сквозь икоту на мгновение очнувшийся Ясень и тотчас снова впал в забытье.

Потом Лева с наигранным энтузиазмом присоединился к пролетариям, которые, набычась и чуя подвох, слушали поучительную историю Додика Шапиро о том, как один его знакомый зоолог был убит на месте эякуляцией голубого кита.

— Вот и литератор господин Криворотов не даст со-
врать, — обратился Додик за подтверждением к Лева.

— Чистая правда, — сказал Лева.

Теперь можно было приблизиться вплотную к Ники-
те с Анной.

— Может быть, помаленьку отпочкуемся и продол-
жим празднество в более узком кругу? — предложил
Лев, всячески рассчитывая на неосуществимость предло-
женного, так как в “более узком кругу” его связь с Ари-
ной сразу бы стала очевидной.

— Рад бы, да некогда, — ответил Никита. — Фор-
сайты ждут, уже на сорок минут опаздываю к именинно-
му столу. Уламываю Аню составить мне компанию, по-
скучать на семейном торжестве. Но что-то ни в какую.
Может быть, все-таки сходим, а?

Аня ответила тем же восхитительным, обезнадежи-
вающим друга движением головы и, как бы давая знать
просителю, что все дальнейшие уговоры тщетны, нетер-
пеливо повернулась к друзьям в профиль и заправила
прядь волос за ухо. “Так она еще лучше”, — подумал
Криворотов, украдкой разглядывая Анину нежную уш-
ную раковину с мочкой, оттянутой серебряной сережкой.

— Вольному воля, — мрачно изрек Никита. — Сча-
стливо оставаться, созвонимся.

Аня кивнула с отсутствующим видом по-прежнему
вполоборота к друзьям.

— Будь здоров, маэстро, — бросил Никита приятелю.

— И тебе до свидания.

И Никита решительно направился к выходу.

— Никита, пока вы не ушли и все остальные в сбо-
ре! Чуть не забыл сделать важнейшее объявление насчет
будущей среды, — заверещал невидимый за Ариной Отто
Отгович. — Минуту внимания. Тишина, пожалуйста.

Господа, у меня для вас экстренное сообщение, приятная, даже сногшибательная новость: в следующий раз у нас выступает Виктор Чиграшов! Живой, можно сказать, классик, если кто не в курсе.

— И он согласился? — с выражением крайнего изумления подала голос Арина.

— Представь себе.

— Даже не верится, чудны дела твои, Господи!

— Да мне самому не верится, и я молю Бога, чтобы...

— Спасибо, Отто Отгович, постараюсь быть. Общай привет! — сказал Никита и вышел вон.

— Ваш Чиграшов или как там его — вчерашний день и нуль без палочки, — встрял в разговор внезапно пробудившийся Вадим. — Ночью был звонок из-за кордона, книга моя на подходе! Это будет нечто! Хватит шутки шутить и играть в молодежные игры! Гамбургский, мать вашу, счет!

Расхристанный Ясень неверными шагами вышел на середину полуподвала и начал недовольно, как дитя спросонья, разглядывать студийцев. Когда он поравнялся глазами с Аней, обиженные буркалы его обнаружили проблеск интереса к жизни, и Вадим шатко двинулся в сторону девушки.

— Лапонька моя, может ли старый больной художник отдохнуть на твоей груди?

— Вряд ли, — сказала Аня.

— Клянусь, он отдохнет! — с пьяной медлительностью молвил Ясень и широко растопырил руки, точно водящий в жмурках.

Девушка отпрянула от объятий, ражий Вадим сделал по направлению к ней еще один валкий шаг, и в эту самую минуту Криворотов что есть силы толкнул в грудь нетвердого на ногах ловеласа. И в изумленном падении тот задел головой жэковский стенд. Всей своей тяжестью

доска с наглядной агитацией рухнула со слабых гвоздей на пол, косо накрыв оторопело матерящегося и несогласованно шевелящего конечностями Вадима Ясеня.

— Господин Адамсон, — радостно заорал Додик, — носилки на ринг!

Но Отто Оттович не нуждался в шутовских призывах. С неправдоподобной при его-то телосложении стремительностью он пересек полуподвал и повис сзади на Левином ремне. Лева с усилием стряхнул с поясицы цепкого карлика, на ходу сорвал с вешалки куртку и припустил за поспешно удаляющейся Анной. В дверях Криворотов обернулся на долю секунды и поверх общего бедлама поймал на себе посланный ему вдогонку Ариинин — полный негодования и презрения — взгляд.

— Всегда у вас так весело или только сегодня? — со смешком спросила его Анна, когда Криворотов поравнялся с ней в подворотне.

— Весна, — молодецки развел руками Лева.

— Спасибо, избавитель, вы — прямо орел. “Вдруг откуда ни возьмись — маленький комарик...

—... и в руках его горит маленький фонарик”.

За попеременным чтением “Мухи-Цокотухи”, въедливо поправляя друг друга, дошли до Большого Каменного моста. Двинулись через реку к автобусной остановке — Аня, как выяснилось, жила в конце Можайки, у Поклонной горы.

Давешняя зелень пропала с неба. В чернильной темноте звезды светили отчетливей и гуще. Схваченные на ночь тонким ледком оттепельные лужицы хрустели и шелестели под ногами. Разговор не клеился, но Криворотов счел, что немногословье хорошо оттеняет его недавний героизм. Подкатил троллейбус, он тоже годился.

— А кто эта роскошная дама? — спросила Аня, поглядывая в окно на недомерки-небоскребы Нового Арбата.

— Которая?

— В платке с розами.

— Не знаю точно... Вернее, одна энтузиастка. Помоему, приятельница Отто. Вы на Чиграшова придете?

— По обстоятельствам. Я, честно говоря, думала, что его в живых давно нет.

— Типун вам на язык.

— И ни строки не читала. Одно слово: провинциалка.

— Напрасно. Когда-нибудь нас вспомнят только за то, что мы дышали с ним одним воздухом.

— Даже так?

Криворотов без зазрения совести пялился на Аню, а она как ни в чем не бывало глядела в троллейбусное окно, за которым тянулся уже срединный Кутузовский проспект и катастрофически быстро испарялось время, отпущенное Леве на все про все. “Как мила, — думал Криворотов, — ничего особенного, а как мила — загля-денье”.

— Рыбачка-то откуда взялась? — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— Во-первых, циркачка. Во-вторых, не ваше дело. А в третьих, я выросла в цирке. Приехали, кажется, — моя.

Аня сбежала со ступенек передней площадки, чуть тронув протянутую ей Криворотовым руку, и на него пахло теплом и духами.

— Французские?

— Польские, по французской лицензии.

Шли незнакомыми Криворотову дворами, которые он прилежно запоминал наизусть, уже наверняка зная,

что пригодится, и не раз. Вдруг Аня придержала Лева за рукав и велела ему задрать голову: голые ветви, если смотреть на них из темноты против яркого фонаря, на просвет выглядели вписанными один в другой — мал мала меньше — обручами.

— Здорóво, — восхитился Лева не столько оптическому эффекту, сколько тому, как славно Анна повелевала.

— Телефон дадите? — спросил он.

— При одном условии. Без ночных звонков, пожалуйста: я с теткой живу, у нас с этим строго. Направо в арку — и я пришла.

— Вы мне сегодня приснились, — сказал Криворотов, панически стараясь вместить в оставшуюся сотню шагов главное и совершенно внезапное сегодняшнее событие.

— Разве мы виделись раньше?

— Вы мне впрок приснились.

Аня хмыкнула в нос и выжидательно остановилась у тускло освещенного подъезда. Криворотов потупился в молчании на целую вечность или больше и с тикающим сердцем, словно вставая в полный рост в атаку, рывком привлек к себе девушку и наспех с силой поцеловал. И также молча развернулся и зашагал прочь под оглушительный марш сердцебиения.

До самой электрички губы помнили вкус Аниного рта и легкий ушиб о ее по-детски крупные зубы. Жизнь сбывалась прямо на глазах. Все совпадало одно к одному, исключало случайность, сходилось с небесным ответом: утренний сон, Левины стихи про девушку “на том краю Москвы”, написанные наобум, когда никакой девушки и в помине не было, март в придачу, счастливая встреча, он сам, Криворотов, таков как есть, сегодняшний сумбурный вечер — вообще все... Вот оно!

Сидя на жестком сиденье в пустоватом вагоне и задремывая, Лева спохватился, что уже не помнит Аниного лица; еще с полчаса назад шелестела какая-то прелесть справа от него и — пропала разом, точно во сне привиделась. “Это поправимо, — успокоил он себя, — лишь бы телефон прелести не забыть и свою остановку не пропустить”. По привычке начал он сквозь дрему вплетать Анин телефонный номер в мнемонический стишок (были у него зарифмованы на всякий пожарный случай и его паспортные данные, и бельевая метка прачечной, и прочие полезные мелочи). Но куплет никак не вытанцовывался из-за нечеловеческой усталости, хотя стук колес подсказывал простенький размер-считалку:

та-та́-та кругом голова,

та-та́-та до седин,

148-22

и 61

Для начала сойдет. Завтра, все завтра. Утро вечера мудренее. Торопиться не стоит: успеется.



Вот он я, Лев Васильевич Криворотов, скоблю в энный, страшно подумать в который — за сорок-то девять лет жизни! — раз безвольный свой подбородок перед заповешим зеркалом в ванной. (В энный в ванной.) Опыстлели мне и вялые черты лица напротив, и звук собственного голоса, и машинальное рифмоплетство, род недуга. Я, мягко говоря, немолод, и вообще веселого мало, особенно по утрам. Уже три года, как я наотрез не пью, курю пять сигарет в день, кляню живот, обуваясь, а последний insult сделал мою фамилию говорящей. Кри-во-ро-тов. Что за Криворотов, почему Криворотов? Знает кто-нибудь, кроме ученого педанта, А. Коринфского, И. Молчанова, и сотни, и сотни прочих, им подобных? Нет. Вот и Л. Криворотов — того же поля ягода. Таланта у меня нет. Были кое-какие способности, да все вышли. Сам себя я знаю назубок, можно сказать, исходил вдоль и поперек, как жидкий лесопарк позадь собственного дома. Никаких сюрпризов, все угадывается с закрытыми глазами: налево — пруд с лодками напрокат и златозубый Ахмед шашлыками с пылу с жару торгует, прямо — детская площадка и мамы с вязаньем чешут

языками, направо — три пивных ларька и закусовая-стекляшка, где днюет и ночует великовозрастная шпана, так что лучше обходить павильон стороной во избежание неприятностей, а за спиной — куца аллея: две шеренги лип — выродившиеся вековые, видно, еще старорезимные, поместные, попеременно с саженцами, привязанными тряпицей крест-накрест к опорному колу. А на выходе из аллеи виднеется что-то светлое, грязно-белое, но это не пасмурное небо, хотя и похоже, а корпуса наших новостроек. Вот, вроде бы, и все. Или по-другому можно дать представление о случившемся со мной за тридцать без малого лет (что-то у меня сегодня рецидив образного мышления). Будто заснул вполпьяна молодой и самонадеянный человек в поле под открытым небом. Потарачился, как и положено, на звезды, торжественно подумал и почувствовал все, что в таких случаях наш брат, смертный, думает и чувствует, а после глубоко и счастливо вздохнул, наобещал себе с три короба и провалился в сон. А проснулся он (и давно уже проснулся) не в чистом поле, а в городской малогабаритной квартире — и не мальчиком, а мужем. Потосковал малость, но вскоре понял, что эти скромные габариты — его габариты и есть. И катастрофы, как видите, не случилось, чего и вам желаю. Дергаться по поводу этой метаморфозы я давным-давно не дергаюсь и в вовсе уж обездоленных себя не числю. Ну, не вышло по-моему, что теперь, на стену лезть? “Мама всякие нужны”. Я, допустим, обеспечиваю достойное прозябание культурной почвы к приходу нового орабая, готовлю, Лев-предтеча, путь, спрямляю стези. Красно сказано? Кстати, действительно, красно: порезался я, мать-перемать. Каждое бритье — наказание Господне, кровит скула у правого уха, вот что значит капилляры близко, давление 180 на 120, что для меня с

некоторых пор в порядке вещей. С ваткой на порезе я — вылитый отец, и вообще с возрастом все больше фамильного, неуловимо-криворотовского: седая грудь, брюхо, мнительный взгляд. Вот покойник порадовался бы на меня нынешнего, остепенившегося. Непутевый, даже пропащий Лева выбился со скрипом в истеблишмент. Угодил в свадебные генералы, ну это я хватил — в полковники. Каждой бочке затычка: сперва в президиуме с постной рожей, после — в зале с коктейлем и красной рыбой на пластмассовой верткой тарелочке. Собирал бы Криворотов-старший и подшивал, аккуратист, упоминания и рецензии о чаде. Их, впрочем, негусто. Как, впрочем, и собственно моих публикаций. Несколько кургузых подборок в толстых журналах. Два стихотворения в одной бесшабашной поэтической антологии XX века в разделе “Катакомбная лирика”, в подразделе “Самиздат 70-х”. С год назад вышла книжица стихов. Раннее, главным образом, позднему взяться-то неоткуда. Ни один шелкопер не отозвался толком, в лучшем случае вежливые околичности: “не гонится за модой, не фальшивит, не предает традиций”. Этого всего я, слава тебе Господи, не делаю, а что же делаю-то? В итоге, три четверти мизерного тиража осело в кладовке между пылесосом и бельевой корзиной. Кое-что раздарил по мелочи, а так — лежат мертвым грузом. Книжные лавки из рук не рвут, а самому ходить-предлагать уже “не к лицу и не по летам”.

Стыдясь собственного трепета, полистал ее, тоненькую, на сон грядущий: очень даже ничего, скажем, это — “Когда в два ночи жизнь назад на Юге...”. Совместное, если честно, с классиком производство. Раздел “Dubia” полного посмертного собрания сочинений. Последнее предположение — чистой воды надрыв. Не будет ни полного, ни посмертного. Хотя место в истории литературы

мне обеспечено. Не за личные, правда, поэтические заслуги, а за вспомогательные. “Как же-как же, Криворотов Л. В., знаем-знаем, наслышаны: столп отечественного чиграшововедения”.

Чиграшововед. Реликтовое животное. Ареал обитания — Амазонка? Экваториальная Африка? Занесен в “Красную книгу”. Кормить и дразнить категорически запрещается.

Оставил я, будто ненароком, экземпляр своей злополучной книженции на виду у телефона и через неделю забрал с глаз долой: дочь, засранка, так и не клюнула на отцову наживку, хотя считается ценительницей, во всяком случае, сходок шумной нынешней бездари не пропускает. А жена — что жена? Узнал задним числом и заскрежетал остатками зубов, что перед презентацией книжки в зале одной библиотеки трогательная моя Лариса обрывала телефоны знакомых и полужаных и просила прийти, а еще лучше выступить. Устроил ей отвратительный, с визгом скандал. После извинялся; даже в честь примирения совокупились — чего давно уже не водится за нами.

Нет, грех жаловаться, — приглашений выступить более чем достаточно, но шиты эти зазывания довольно-таки белыми нитками: “почитаете свое, потом может возникнуть разговор”. Дожил, голубчик: конференс Льва Криворотова — мастер разговорного жанра, весь вечер на арене!

И распорядок этих вечеров я знаю, как свои пять пальцев: академический час оригинального, так сказать, творчества — неубедительная покашливающая тишина интеллигентской аудитории. По истечении вежливой обаяловки, то бишь первой части, две-три неказистые тетки моих лет подходят за автографом. Одна из них обязательно оказывается забытой напрочь говорливой однокурсницей.

— Видите ли вы, Лева (ничего, что я так, запросто?), кого-нибудь из однокашников по alma mater? Нет? А такая-то, помните, была старостой немецкой группы? Умерла, представьте себе.

— Ай-ай-ай, конечно, помню... Простите старого маразматика, — извлекая стилlo из внутреннего кармана пиджака, — запомнил ваше имя. Спасибо. И число сегодня? Обратное же, спасибо. Полюбуйтесь, что делается: чудом еще собственную фамилию в голове держу. Простите великодушно за похабный почерк.

Случается, что в метре от мэтра (выше моих сил: само идет в руки) мнется вязкий энтузиаст с приветом, лет двадцати, с сальными волосами, в утях и с недужно целеустремленным взглядом сквозь толстые стекла очков. Скорее всего, именно он, поросенок, не спросив, записывает меня на портативный магнитофон.

— Нет, молодой человек, дело было в 76-м году, в ноябре месяце, если не ошибаюсь. Имейте терпение, пожалуйста, после перерыва я, вероятно, коснусь и этого. Пишите на здоровье, только не прерывайте меня, когда станете менять кассету.

По обыкновению, на этом лично мой тусклый звездный час завершается. Потщеславился и будет, теперь оправдывай ожидания просвещенной публики. Для 99% аудитории я представляю интерес не сам по себе, а постольку-поскольку. На столе, как водится, скопилась дюжина записок. Их можно и не разворачивать: все они посвящены Чиграшову. (Напрасно девушка в красном перебралась в первый ряд: вблизи она куда меньше напоминает Аню.)

— Так на чем я остановился? Времена сами помните какие были. А к сведению тех, кому повезло родиться позже, замечу: белых пятен в культуре хватало. Поляр-

ный, скажем прямо, ландшафт (этот образ кочует из одного выступления в другое, и иногда я спохватываюсь, что кто-нибудь из слушателей, затесавшихся на мой вечер повторно, не сдержит смеха узнавания. А впрочем, плевать). Никто ничего толком не знал — ни Мандельштама, ни Бродского, Чиграшова и подавно. Но мы, молодые люди, пробующие свои силы на литературном поприще, конечно, Чиграшова знали, читали, многие боготворили. И вдруг он собственной персоной неожиданно-негаданно приходит на полуподпольную поэтическую студию, которую я посещал время от времени. Сейчас оказалось, что у Чиграшова друзей и единомышленников пруд пруди. Панибратством с ним бахвалятся даже те, кто в глаза Чиграшова не видывал. Литературных иждивенцев, любителей въехать в историю культуры на подножке чужой репутации — более чем достаточно. Но я не о них. Чиграшовское магнетическое обаяние ныне общеизвестно по мемуарам. Я — и не я один — испытал действие этих чар на себе незамедлительно. Уже не могу сказать, был ли он хорош собой. Если существует такая одухотворенность, которая не нуждается в красоте, даже краше красоты — она была присуща ему в высшей мере. Может быть, дает о себе знать долгое знакомство, даже дружба, но мне он сразу же показался совершенно неотразимым. Трагизм и великое предназначение сквозили в любом его жесте или поступке, в каждой мелочи, ну хоть... (здесь из раза в раз мною умело симулируется легкое замешательство: мол, что бы такое взять и наобум рассказать попроще, почеловечней?). Что-то, как назло, ничего существенного в голову не лезет... Вот первое, пришедшее на память. Шло его чтение на студии блаженной памяти Адамсона Отто Оттовича. Тишина воцарилась неправдоподобная. Нарушало ее только мяуканье

приблудного котенка, бродившего между рядами. Не прерывая выступления, Виктор Чиграшов наклонился, взял животину на руки и положил к себе на грудь. Читал он самозабвенно и не замечал, как испуганный котенок царапал ему грудь сквозь рубашку. И к концу выступления белая рубаха была красна от крови. Еще ничто не предвещало скорой гибели поэта, но, согласитесь, символ зловещий... После Чиграшова, понятное дело, робея, читали и мы, студийцы. Ему глянулись мои стихотворения, мы стали видаться — и так продолжалось вплоть до его внезапной кончины.

Славные пирожки я печь навострился? Дешевка, разумеется, но в немалой степени именно это и держит меня на плаву. Бог с ним, с отечеством, а в каком-нибудь захолустном американском университетике подобными байками случалось мне заработать неплохие зеленые денжки, что по нынешним-то временам хорошее подспорье к семейному бюджету. А семья знай тянет. Речь, разумеется, не о жене, Ларисе: она у меня аскет, экономит каждую копейку, чтобы свести концы с концами и не оскорбить презренной прозой моей поэтической чувствительности, ибо свято верит в мою неяркую звезду. Другое дело — дочь.

Семейное положение: потихоньку-полегоньку женат третьим браком. У жены дочь Варя от первого мужа, воспитываемая мной с четырехлетнего возраста как родная, более того, официально удочерена. Только неделю с чем-то назад заверил я у нотариуса разрешение на выезд дочери за границу в сопровождении матери. Поехали на неделю в Турцию проветриться. Я и рад: может быть, разлука примирит меня с дочерью, которая скоро год всячески третирует меня — переходный возраст. Да и мне одиночество именно сейчас как нельзя более кстати.

Засяду-ка я на свежую голову за любимую рутину, есть и у меня “конек”, говоря словами Стерна. А то что-то я непростительно запустил дела: комментарии к тому стихов Чиграшова, поставленному в издательский план этого года в “Библиотеке поэта”. “Конек” мой уже ой как не молод, но еще вроде бы резв.

При первых же признаках “потепления” рискнул я предложить на голубом глазу в одно республиканское молодежное издание подборку стихов некоего Чиграшова. И надо же — удалось! Сейчас уже никто ничего из-за обилия сенсаций не помнит, восприимчивость общества притуплена до предела, но по тогдашним временам публикация моя наделала шума и наряду со столичными журнальными перепечатками опальных классиков серебряного века стала заметным симптомом наступающих изменений к лучшему. Правда, уже через неделю после выхода в свет помянутой подборки подпортила мне крови единоутробная сестрица Чиграшова, Татьяна Густавовна, обвинив в хищничестве, спекуляции на имени брата, чуть ли не в соучастии в кознях тоталитарного режима и прочих смертных грехах. А врезку мою к братним стихам назвала со старушечьей прямотой “лакейской” — ни больше ни меньше! В кое-каких ее доводах, увы, был свой резон. Долгое время “железная леди” диссидентской закваски не могла поверить в необратимость случившегося в стране и опасалась, что сочинения Чиграшова, будучи напечатаны в “империи зла”, разойдутся по закрытым распределителям и чековым магазинам, от чего в выигрыше останутся, как всегда, только власти: и Западу по поводу удушения здешних свобод тень на плетень наведут, а заодно и валюты на покойнике подзаработают. Собравшись с мыслями, я попросил Татьяну Густавовну о свидании и изложил ей как можно более внятно

свои контраргументы, которые сводились к следующему. Пока мы тут разводим антимионии и ссоримся, а дело стоит, за границей, а точнее, в Канаде, Арина Вышневецкая и К° времени даром не теряют и неровен час опередят нас и выпустят, в спешке и кое-как по слепым Арининым с опечатками и пролежнями на сгибах копиям, собрание сочинений Виктора Чиграшова. Оно-то (за неимением лучшего) и станет на долгие годы каноном и печкой, от которой пойдут плясать переиздатели всех рангов и мастей. И дал старухе представление о геометрической прогрессии пагубных последствий такого порочного зарубежного издания: растащат перевранные цитаты по статьям и славистским диссертациям, понавезут сотни экземпляров сюда, пойдут плодиться ублюдочные ксерокопии и машинописные распечатки и — пиши пропало... И все это будет сделано не чужим дядей и не злейшими врагами Чиграшова, а ее собственным сестринским опрометчивым попечением. Хочет она добиться подобного результата своим упорством? Не хочет. А тогда пусть слушается меня, не говорит под руку и ничегошеньки без моего ведома не предпринимает.

Вроде уломал я жестоковыйную даму: шантаж, как известно, последнее средство джентльмена. А с ближайшей же оказией отправил Арине письмо, где слезно просил ее, заклиная всем святым, попридержаться выпуск эмигрантского собрания и не мешать делу популяризации творчества Чиграшова на родине. Ибо публикация на Западе может вызвать у власти приступ раздражения и отложить еще на годы и годы выход здешней книги; и без Ариной-де самодеятельности хлопот не оберешься, поскольку не в меру энергичная сестрица Чиграшова не так, так эдак норовит дров наломать. “А лучше, — писал я подруге молодости, — помогла бы ты мне и поделилась

тем, что имеешь: ум хорошо, а два лучше”. На том и решились? Иезуит Криворотов! Мастерски удалось мне предотвратить войну из-за чиграшовского творческого наследия вроде той, что разгорелась у Толстого вокруг наследства старика Безухова. Вскоре я выпустил первую книжечку Чиграшова, потом — другую, потолще и попредставительней; словом, начал помаленьку выводить своего подопечного в люди. Но, лишенная энергичной разрядки, взаимная неприязнь враждующих кланов была загнана внутрь, приобрела хроническую форму. Отныне Татьяна Густавовна, старая дева гренадерского роста, звала Арину Вышневецкую, поджимая губы, не иначе как “пани”, и заочно прониклась к эмигрантке особой женской ненавистью, горящей ровно, как синее пламя в духовке. Арина, естественно, в долгу не осталась. Я же чудом по сей день пребываю над схваткой и, как гласит поговорка, сосу, ласковый теля, двух маток.

Двурушничество мое вскоре всплыло наружу, но менять что-либо было уже поздно. За мной, беспринципным, с тех пор окончательно утвердилась репутация двушастного — на здоровье: “и волки сыты, и целки целы”, как говаривал знакомец моей напрасной молодости. Своего я, пусть и ценой собственного доброго имени, добился: Татьяна Густавовна перестала мешаться под ногами, а Арина... Кто действительно помог, так это она, исключив для меня впоследствии очень ощутимый грант в одном из зарубежных благотворительных фондов.

Всем бы ты была хороша, свет мой Арина, не печатай ты периодически где попало, и в столичных, и в провинциальных изданиях, гнусную бабью эссеистику — “наш поэт ворошит былое (ворожит над былым?), имея в виду взгляд Другого, и эта Инакость” и тэ дэ... Мне этот слог как серпом по яйцам. А тетка она добрая, спору нет.

В годы бескормицы раз в два-три месяца приходили по почте повестки с предложением явиться на окраинный хладокомбинат, где и выдавали мне по предъявлению паспорта прямоугольную глыбу льда в картоне, битком набитую намертво вмержшими в североамериканский лед куриными окорочками.

По почтовой курятиной и литературоведческими шашнями по переписке контакты наши, как показало время, не ограничились.

Все семейство — Лариса, Варя, Яшка-пикенес и я — были уже в дверях, чтобы ехать на дачу, когда, как с того света, позвонил и представился Лео Вышневецки. Не мешкая с ответом ни минуты, он охотно откликнулся на мое последовавшее за кратким телефонным знакомством вялое предложение присоединиться к дачникам, погрузиться, так сказать, в самую гущу здешней жизни. И внезапность появления, и легкость на подъем были совершенно Аринины.

Та еще была картина: убогое дачное поселение, щитовые домики, жидкая смородина, за каждым забором — огородники в одежонке из-под пятницы суббота, все больше кверху задницей над худосочными грядками... А по единственной улице, заляпанной расейскими лужами, шествует под перекрестным обстрелом недоумевающих туземных глаз настоящий гладкий американец — косая сажень в плечах, со спортивной сумкой, в которой угадывались очертания то ли теннисной ракетки, то ли бейсбольной биты. Шагает, похохатывает, пугает дачную тишину американским дребезжаньем ломаной русской речи.

Судя по всему, загадочная родина предков не обманула ожиданий заморского гостя и пришлась ему по душе, кабы только не странное местное обыкновение ходить по

нужде в смрадное очко пад выгребной ямой и — “как это по-русски?” — *котару*. Когда Лео не находил слов, он смеялся во всю американскую белозубую пасть и щелкал в воздухе пальцами, как над пуделем, в надежде вызволить из пустоты нужное слово. Нужное слово не вызволялось, Лео смеялся еще пуще. Все радовало чужака.

— Смешно: у нас одно имя, — заметил он мне весело среди прочего.

Со сложным чувством я выглядывал фамильную криворотовскую загогулину в ушной раковине молодого весельчака, но тщетно (происхождение, да и вообще существование Лео все эти годы обходилось молчанием по обе стороны от Атлантики, если не считать Арининой рождественской открытки черт-те какой давности: “У меня родился сын Лео. Постараюсь вырастить из него настоящего американца”). Аринины старания, похоже, увенчались успехом. А я “глядел нельзя прилежней”, но голос крови молчал. Ничего родственного не усмотрел я в великовозрастном интуристе. Безошибочно узнавалась одна утрированная до брутальности Арина, точно она, производя ребенка на свет, обошлась без постороннего участия вовсе.

Принужденный пикник наш затянулся часа на три, шашлык Ларисы-неумехи, как и ожидалось, оказался малосъедобным, скудные общие темы для разговора иссякли, дочь назло нам с Ларисой так и не промолвила ни слова по-английски, даром что ее уроки языка влетают нам в копеечку. В придачу зарядил дождик. Принудительное безделье уже начинало бесить меня, когда на помощь пришла не на шутку разыгравшаяся у Вышневецки-младшего аллергия на *котару*. Гражданин сверхдержавы разом посерьезнел, собрал свои бебихи и засобирался в город, где у него было какое-то спасительное заграничное противоядие от зуда. А когда лекарство

возымеет действие, сообщил нам Лео с важностью, у него еще запланирована на сегодня игра в баскетбол в польском спортзале, ОК? Конечно, ОК, Лео, как у тебя все славно срастается!

А через неделю он улетал восвояси, увозя с собой на просмотр Арине очередной вариант моих комментариев к Чиграшову и купленную на развале в Измайлово мазню с тучками, церковкой и речной излучиной, над которой толпятся жидколягие березки. “Fare thee well, безотцовщина, and if for ever, still for ever, fare thee well...”

Однако вернемся к нашим баранам (“болванам”, как незамедлительно скаламбурил бы покойный объект моих штудий, не упускавший случая блеснуть мизантропией). Сроки поджимают: в сентябре текущего года намечается целая серия довольно громоздких и трудоемких мероприятий в связи с тридцатилетней годовщиной со дня смерти Виктора Чиграшова. Предполагается конференция в Москве, торжественный вечер (“площадка” подыскивается), открытие мемориальной доски на Чистых прудах и, не в последнюю очередь, выход в свет первого респектабельного собрания стихотворений свежеканонизированного классика. Составление и комментарии Л.В. Криворотова. Вступительная статья, разумеется, его же кисти.

По совпадению нынешний год знаменателен и для вашего покорного слуги: пятидесятилетний юбилей как-никак. Кап-кап-кап — исподволь набежал “полтинник”, и сделался я старше Чиграшова к моменту его смерти аж на целых тринадцать лет. Его нынешние ровесники в моих глазах сейчас — сущие мальчишки... Вот тебе и патриарх, и учитель, и кумир молодости! По моим теперешним понятиям, аккуратная его смерть в хрестоматийные тридцать

семь — некоторый перебор, даже моветон: можно было бы и сломать романтический строй. Но о вкусах не спорят. В ту пору и под свежим впечатлением вся эта мистика чисел воспринималась, само собою, как сильный довод в пользу Чиграшова; легендарный возраст ухода из жизни служил доказательством безусловной правоты и метафизической победы. Дело прошлое. Но пресловутый том обещает стать вехой и моей литературной карьеры, — подозреваю, что кульминацией. Вероятно, поэтому я так тяну с завершением почетного труда и действую своей нарочитой волокитой на нервы Татьяне Густавовне: боюсь пустоты, которая с неизбежностью наступит, когда шатры и балаганы предстоящей ярмарки тщеславия, приуроченной к круглой чиграшовской дате и выходу книги, свернут, упакуют и побросают на подводы. Тошнехонько и колко, чует мое сердце, будет мне какое-то время почивать на лаврах, пока не найду я себе новых цапек для убийства времени. Хотя убивать-то, если рассудить здраво, осталось уже всего-ничего: ишь, с какой скоростью прибывают в домашней аптечке капли, свечи и пилюли. Того гляди, направлю я подагрические стопы в края, “где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин”. И Чиграшов с кактусами. Как-то примут небожители меня, компания ли я им?

Внезапный заказ издательства не застал меня врасплох: исподволь, в стол и для себя, я давным-давно занимался Чиграшовым, жил четверть века, по существу, “на два дома”. Далеко не уверен, что моего изыскательского рвения не поубавилось бы, попади в мои руки своевременно единица хранения, названная в рабочем порядке за оттиск пагоды на обложке “китайской тетрадь”. Так что мое идиотское самопожертвование объясняется вовсе не мазохистскими наклонностями ученого мужа — они отсутствуют напрочь, а рассеянностью поэтовой сестри-

цы, пополнившей мой архив этим любопытным человеческим документом почти на тридцать лет позже, чем следовало бы... Пусть Густавовну покойник и благодарит. А то копался бы в писаниях Чиграшова другой чего-тотамвед, а я — умыл руки. Знать, инерция чиграшовского везения не иссякла со смертью баловня судьбы — звезда его сорвалась с небесного гвоздя, а беспричинный свет ее продолжает сбивать кой-кого с толку, прошу прощения за пышную образность: минутная слабость.

Чего греха таить, обескуражил меня последний трофей, ой, как обескуражил! Но до появления в моем исследовательском обиходе “китайской тетради” —

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный... —

примерно так и я жил год за годом почитай половину жизни, урывками корпя над бумагами Чиграшова, и видит Бог, часы, проведенные в этих, наверняка слишком личных для филолога, изысканиях, были далеко не худшими часами изо всего отпущенного на мой век. Быть может, опыт тихой и всепоглощающей страсти подвиг меня написать в один присест либретто к мюзиклу “Презренный металл” по “Скупому рыцарю”. (А вовсе не по “Моцарту и Сальери”, что, вроде бы, напрашивается!) Успех пьески превзошел самые дерзкие ожидания автора. Спектакль кормил меня добрую половину восьмидесятых, потому что шел “на ура” при переполненном зале, считался “смелым”, и товарищи-доброхоты, охочие до фиг в кармане, со значением поздравляли меня, делая большие глаза и разводя руками.

И наконец. Года два назад у меня зародилось подозрение, вскоре сменившееся уверенностью, что в “тайном подвале” я не один. Тотчас захотелось порывисто вздеть над головой фонарь и спросить севшим голосом: “кто здесь?”. Изредка, но с пугающей периодичностью стали появляться в газетах и журналах за подписью некоего Никитина небольшие, но довольно пронзительные статейки на интересующую меня тему. Автор их гораздо лучше моего осведомлен об обстоятельствах первой молодости, круге знакомств и подробностях судебного процесса над Чиграшовым и его товарищами — печально известном “чукотском деле”. Сразу видно, что непрощеный “сотрудник” мой вхож в такие спецхраны, куда простым смертным вход заказан и долго еще будет затруднен. Надо отдать коллеге Никитину должное: он довольно умен и наблюдателен. Я бы сказал, что даже слишком, не по-людски чуток: некоторые его умозаключения низменны и точны, как удар под дых — тем и отвратительны. Постараюсь объяснить, чтобы не быть заподозренным в исследовательской ревности. Переход на личность — явление почти закономерное и неизбежное в научной практике. Но Никитин — большой любитель, потирая руки, заглянуть интересующей его личности за спину и наметанным глазом углядеть там неповоротливую нежить с голыми веками и пульсирующим горлом, которую-то исследуемая личность из последних сил всю жизнь как раз и старается загородить от досужих взоров. Никитина хлебом не корми дай приблизиться вплотную и, дыша в лицо, заглянуть подопытному внутрь зрачков. Он запросто, как дантист во рту пациента, шарит в тине чужой души, берет Чиграшова, словно вещь, — не трогает более-менее бережно, а по-солдатски лапает, почти *имеет* в омерзительно-казарменном значении слова. Когда я читаю его статьи, я — само внимание, и, вместе с тем, мне гадко, будто я под-

слушиваю, как посторонние мужчины деловито обсуждают стати очень дорогой мне женщины.

Вот ведь в какой “литературоведческий” переплет я было попал и почти тронулся рассудком из-за традиционного до изжоги, излюбленного отечественной словесностью сюжетного хода — двойничества. Хотя цитирую Арины бредни про “взгляд Другого”.

Вспомнил я тогда — и не раз — свой детский ужас от “Робинзона Крузо”, когда герой оторопело склоняется над цепочкой человеческих следов, идущих вдоль берега его до поры необитаемого острова. Какое-то время и я озирался затравленно, что твой островитянин, но очень недолго.

Самозванец, похоже, добивался, чтобы у меня сдали нервы и я уступил ему Чиграшова, запросил пардона, первым стал искать сближения с целью раздела сфер влияния — не на того напал. Мои неоднократные попытки как бы между прочим разузнать у братьев-словесников, что-де за “летучий голландец” такой замаячил на горизонте, ошутимых результатов не дали. Коллеги пожимали плечами: вроде бы сталкивались какие-то третьи лица с этой важной птицей в заграничных поездках — ничего определеннее. Гастролер, значит, — не мне, трудоголику, чета. И тут-то в один прекрасный день, в помрачении, которое я сгоряча принял за просветление, разгадка пришла сама собой, и я задался несколькими риторическими вопросами. Кто еще, кроме меня, знал покойного достаточно коротко? Кто мог в силу потомственно-привилегированного общественного положения иметь доступ к архивам тайной полиции (и колесить, играючи, по белу свету)? Кто, мастер расшифровывать глумливую тайнопись Кэра Кушльти, решил от нечего делать тряхнуть стариной, облажить прием и, внаглую бравирюя тавтологией, взять псевдоним — производное от соб-

ственного имени? В этом он весь! Или мало сановному отпрыску, что он обобрал мою жизнь до нитки, ему неймется выбить у меня из-под ног последнюю почву — призвание? Смешнее всего показалась мне в запальчивости двухлетняя слепота Криворотова Льва Васильевича. Я ли на своей шкуре не испытал умения этого человека ухватить где что плохо лежит? Мое почтение, старый приятель, чего-чего, а хватательного рефлекса тебе не занимать.

После гибели Чиграшова сложная конфигурация амурных взаимоотношений упростилась до треугольника: я, Аня, Никита. Время было лихорадочное, поскольку нам, вернее нашим близким, выпало расхлебывать кашу с антологией. В конце августа 197... года она с помпой вышла на Западе — и не где-нибудь, а в зловещем издательстве с “птицей-тройкой” на титуле. Гром среди ясного неба! Эффект разорвавшейся бомбы! Вот тебе и несколько закладок на пишущей машинке! Вот тебе и литературный междусобойчик! Подсуропила Арина: прославила, а заодно и засветила кое-где пятерых начинающих пиитов во главе с выдавшим виды анахоретом Чиграшовым, которому только этого и недоставало!

На сборы, как узнал я, вернувшись с Памира, была Вышневецкой отпущена властями, внезапно сменившими гнев на милость, всего неделя. Но эксцентричная меценатка успела-таки переправить один машинописный экземпляр по своим каналам за рубеж и незамедлительно дала рукописи ход. Сроки, в которые была издана книжка (меньше трех месяцев!), опрокидывали все отечественные представления о возможном и невозможном в полиграфии.

— Могут, когда хотят, — кисло пошутил Шапиро.

Дорого бы я дал, чтобы распознать момент, когда шестерни рока намертво сцепились между собой и весь

механизм пришел в движение. Каков он, юркий камешек, влекущий за собой камнепад? Угадать бы на лету последнюю решающую каплю на мельницу следствий. Меня вообще интересует, когда критическая масса мелочей становится новым качеством судьбы, когда в синяке от ушиба или расчесе начинается деление раковых клеток и процесс становится неуправляемым, необратимым, живущим своей гиблой жизнью?

Участие в антологии Чиграшова, как это мыслилось мною и Никитой в марте—апреле, было крайне желательным и придало бы всему начинанию совершенно иной вес, да и мы, пишущая молодежь, сразу вырастали в собственных глазах. Шутка ли — гений, мэтр и в прошлом ээк! Но он наотрез отказался даже обсуждать наше предложение и просил больше к этому разговору не возвращаться. Но примерно за месяц до моего отъезда в экспедицию мы, пятеро участников будущего издания, сидели у Чиграшова, и Аня-змея вскользь спросила радушного хозяина, угощавшего молодых лириков чаем “со слоном”:

— Вы боитесь?

И Чиграшов дернулся и ответил своим сакраментальным:

— В моей жизни было событие, которое раз и навсегда снесло меня с орбиты страха.

Стоп. Не здесь ли мы зевнули нужный мне поворот? И вот, пятидесятилетний и удрученный, стоишь ты над своею же долей, как беспомощный всевышний, видящий все взаимосвязи, но бессильный что-либо изменить!

Неприятности не заставили себя долго ждать. Никита, как водится, вышел сухим из воды. Родители его использовали на всю мощь авторитет патриарха семьи, дедовских “полезных человечков”. Те же, кому жизнь не

дала форы... Я отделался легким испугом, а если начистоту, — тяжелой контузией, боюсь, что пожизненной. Меня после звонков, унижений и хлопот (возможность обзавестись волчьим билетом “за убеждения, не совместимые с пребыванием в идеологическом вузе”, светила юному пииту более чем реально) с потерей года перевели на заочное отделение, чтобы, как было сказано моей матери, я “дурно не влиял на соучеников”. Наименее защищенными оказались Аня и Додик. Шапиро в считанные недели (как раз шел осенний призыв) загредел в армию, и его можно считать, для меня во всяком случае, без вести пропавшим. (Слухи о том, что его тезка и однофамилец уже почти два десятилетия шоферит таксистом в Нью-Йорке — всего лишь слухи и в расчет приниматься могут с серьезными оговорками.)

Аня первой наткнулась на труп Чиграшова, заработала себе, оно и понятно, нервное расстройство и угодила до конца октября в Матросскую Тишину. А поскольку очаровательная провинциалка и так не блистала успехами в своем дохлом областном институте культуры и имела увесистую гроздь переэкзаменовок на осень, никакого особого вмешательства карательных органов, что бы мы тогда ни говорили, для Аниного исключения и не понадобилось. Догадайся она по выходе из психиатрической больницы оформить академический отпуск, все бы, возможно, и обошлось, но она пребывала в ступоре, а советчика поблизости не оказалось: Чиграшов самоустранился, остальные спасались кто как мог.

Короче говоря, Ане предстояло собирать пожитки и убираться восвояси, то есть в шахтерский город N — врагу не пожелаешь. Никита, пользуясь оцепенением, в которое впала Аня, улучил минуту и предложил ей руку, сердце, московскую прописку и безбедное существова-

ние. “Как говорится, машинально” предложение было принято.

Тогдашняя Никитина расторопность, помноженная на мою законную ненависть многолетней выдержки, плюс многое другое... Словом, вывод напрашивался сам собою: не кто иной, как дружок молодости, будь он неладен, наперегонки со мной, весело покрикивая на ездовых собак (мальчишковая греза проходивших по “чукотскому делу”), приближается к полюсу моих жизненных интересов — трудам и дням Виктора Чиграшова.

Виктор Чиграшов родился в день летнего солнцестояния 193... года. Мать его была дворянского, хотя и затрапезного, роду-племени. И квартира на Чистых прудах, в которой уже на моей памяти Чиграшов занимал одну-единственную комнату, некогда целиком принадлежала его бабушке по матери. Старуха, по воспоминаниям Чиграшова, была существом довольно вздорным и спесивым, даром что лишенкой. До конца дней своих она не могла в душе смириться с “уплотнением” фамильного гнезда и прочими унижениями, на которые был так щедр новый режим, и однажды в пылу коммунальной склоки выкрикнула в лицо соседке-плебейке, обосновавшейся вместе со своим придурковатым сыном в бывшем кабинете покойного деда:

— Когда мир был миром, вы были прахом!

— Согласитесь, Лева, фраза хороша и просится в уста какого-нибудь обитателя фолкнеровского Юга, — говорил Чиграшов. — Впрочем, особенного мужества эта гневная отповедь от моей бабушки не потребовала: несчастная простолюдинка страдала глухотой.

Мать Чиграшова, писаная красавица, уже к семнадцати годам разобралась что к чему и, будучи особой волевой, решила любой ценой выбиться из отверженного со-

словия, к которому она имела несчастье принадлежать. Была предпринята череда довольно экстравагантных, но неустойчивых по тем временам замужеств. Первым супругом молодой авантюристки стал обрусевший в революцию то ли чех, то ли немец, верный последователь Троцкого, за какую-то верность пылкий чужеземец в итоге и поплатился, а заодно и жену с трехлетней дочерью Таней на руках оставил бессрочной соломенной вдовой. Тогда красавица пошла ва-банк и, думая обезопасить себя наперед от превратностей террора, обольстила ни больше ни меньше, как изрядного лубянского воеводу. Влюбленный в нее без памяти чекист и сделал ей мальчика Витю. Отец Чиграшова был уроженцем черты оседлости. Надменную тещу поначалу перекосило от дочернего мезальянса, и вместо благословения она пошутила с зятем: “чай жидок, а пьет русский”, но после навела справки у товарок-лишенек и поубавила панской спеси, язык, во всяком случае, прикусила. Толчком к карьере местечкового еврея некогда послужило его деятельное участие в раскрытии “заговора Таганцева”, и, по семейному преданию, именно он, молодой следователь, точной лестью развязал язык поэту Гумилеву, и тот оговорил себя. Не взирая на былые заслуги, в 1937 году герой гражданской войны и отец будущего поэта умер под пытками по месту службы. Но и второе вдовство не затянулось надолго — мать Чиграшова не могла себе позволить опуститься ниже определенного уровня достатка и общественного положения; матримониальная охота была жизненной сверхзадачей недюжинной женщины и советской барыни. Наученная горьким опытом двух предыдущих замужеств, она решила подобру-поздорову оставить поиски супруга на чреватом катастрофами государственно-политическом поприще и мастерски окрутила летчика и орде-

ноносца испанской войны — он-то и дал Чиграшову фамилию и отчество. Огромный сибиряк-отчим запомнился пасынку-полукровке крутым нравом, верностью субботней бане и гастрономическим патриотизмом: сибирские пельмени в роскошном жилище Чиграшовых на Пушкинской площади, куда переехала мать с Татьяной и Виктором, не переводились. Летом 1943 года подполковник авиации Матвей Чиграшов был сбит над территорией, занятой войсками противника, попал в плен, бежал, чудом добрал до своих и вскоре очутился на нарах одного из пермских лагерей, а три года спустя нашел последний приют в одной из лагерных братских могил. Где-то неподалеку, в холодной пермской земле, тлели к этому времени и кости чиграшовской бабки, не пережившей эвакуации.

Как в детской настольной игре, где ход, по воле образцово-показательного рока пришедшийся на красный кружок, обрекает игрока начинать кон сызнова, трижды вдова, поблекшая красавица с двумя детьми на иждивении, воротилась туда, откуда в первой молодости начинала свое зигзагообразное восхождение, — в материнскую комнату коммунальной квартиры на третьем этаже большого с зооморфным орнаментом дома на Чистых прудах.

Мало-помалу обнаружилась у вдовы то ли благоприобретенная, то ли врожденная душевная болезнь, выразившаяся в затяжных тяжелых депрессиях. Сама подтянутость и *comme il faut* (Чиграшов вспоминал, что ко времени его пробуждения в школу мать уже была в туфлях на каблуках и гриме), в пору приступов нервного расстройства она могла часами сидеть на своей кушетке простоволосая в драном халате, вперея взор в одну точку. Курила исключительно “Беломор”. Так что, скорее всего, бытовое щегольство, болезненно-резкая смена настрое-

ний и пристрастие к крепкому табаку достались Чиграшову по наследству.

Вдова обладала отменным вкусом, слыла мастерицей на все руки и зарабатывала на жизнь надомным вязанием изысканных вечерних платьев, имея по старой памяти высокопоставленную клиентуру. Зимней ночью 1950 года мать Чиграшова погибла под колесами товарняка, самоубийство не исключалось.

Ко времени моего с ними знакомства Татьяна Густавовна обзавелась однокомнатной кооперативной квартирой в Черемушках и — на паях с братом — дачным участком с садовым домиком (компенсация за одного из репрессированных отцов). Виктор Чиграшов проживал в одиночестве на фамильной жилплощади, которая, надо полагать, после его смерти отошла к неласковому государству. Тринадцатого числа нынешнего сентября планируется водрузить на бывшем его доме мемориальную доску.

Шестнадцати лет от роду оставшись круглым сиротой, Чиграшов перво-наперво бросил школу. Судьбы детей поневоле повторяли причудливую кривую материнской участи. Для сестры и брата взлеты и падения матери каждый раз оборачивались скачками уровня благосостояния и, что еще чувствительней, переходом в новую школу: из простой районной в привилегированную — и наоборот, как это случилось в заключительную пору их совместной жизни. Девочка с переменной декорацией осваивалась легче, чем бука Витя; того удел вечного новичка исподволь превратил в малолетнего изгоя. Подыгрывала отщепенству и национальная принадлежность чиграшовского отца, которая для знатока проступала в чертах Витино лица и, учитывая обстоятельства времени и места, стала причиной прилежной травли — вплоть до регуляр-

ных избиений после окончания уроков. Отстающий в росте, подверженный обморокам и слегка припадающий на левую ногу (родовая травма), подросток дать отпор распоясавшейся шпане, ясное дело, не мог. Но из-за байронической хромоты Чиграшова забракела армейская медкомиссия, и он мог себе позволить роскошь распорядиться юностью по собственному усмотрению.

Основательная домашняя библиотека, включая пыльную верхнюю полку с дедовскими “Весами”, “Аполлоном” и трудами пассажиров “философского парохода”, была прочитана и принята к сведению; корь стихотворства с окончанием отрочества не только не сошла на нет, но давала о себе знать все сильнее; на высокомерие и честолюбие природа не поскупилась. Кормился юноша случайными заработками, да и сестра-студентка корила за беспутство, но супа наливала. Долго ли коротко ли, он сошелся с себе подобными. Молодые люди как с цепи сорвались.

Интеллигентные мальчики, вольнодумцы и выходцы из разоренных террором семей, они засучив рукава приступили к прожиганию жизни, отыгрывались молодечеством за родительский страх и унижения детства. Высоколюбые ухари не просыхали, море казалось по колено, безобразничали по нарастающей, беря самих себя и друг друга на слабо. В кругу сорвиголов от восемнадцати до двадцати с гаком лет считалось шиком замешаться в ряды праздничной демонстрации, скандируя до вздутия жил на лбу и шее: “Смерть врагам империализма!”, или ночью выкатить вручную троллейбус из тупика, набиться туда пьяной компанией и прокатиться с песнями под уклон Большой Пироговской. В 1957 году бузотеры, вымазавшись неграми, затесались на фестивальные радения. Об эту пору учрежден был даже шутовской масонский орден

“Собакатуры кошки”, куда вошли самые отпетые, среди них Чиграшов. Магистром ордена единодушно избрали кота по кличке Иванов. Чтобы стать членом ложи, надо было пройти инициацию — повторить подвиг толстовского Долохова. Шутки шутками, но так они не досчитались товарища: прозелит с початой бутылкой спиртного в руках вывалился в окно и разбился насмерть. Не гребовали повесы и вовсе казарменными развлечениями, вроде салюта победы в честь взятия войсками Западно-Восточного фронта города Мухосранска — кощунство по отношению к официальным святыням всячески поощрялось. Удивительно, что столько лет подряд эпатирующие выходки шайки-лейки не попадали в поле зрения органов охраны правопорядка — а жаль: привод-другой в милицию мог бы остудить горячие головы и предостеречь зарвавшихся молодых людей от более серьезных последствий.

Чиграшов был одним из коноводов, товарищи чтили его талант, стихи советского денди ходили в списках по рукам. Где-то в конце пятидесятых Чиграшов узнал азбучную первую любовь, несчастную, как и положено первой любви. Некоей А. посвящено сорок три опуса. Этими тремя с гаком дюжинами стихотворений любовная тематика в творческом наследии Чиграшова исчерпывается. Кем была дама его сердца, что с ней случилось, где она теперь и жива ли — неизвестно. Как бы то ни было, ей мы обязаны, скажем прямо, умопомрачительной любовной лирикой, а я — и кое-чем посущественней. Пять-шесть стихотворений — безусловные шедевры с запасом прочности на... словом, на наш век хватит и внукам останется, если потрудятся выучить алфавит.

Годы шли, шалопаи выросли, чистое искусство шалопаинства приелось, захотелось стоящего взрослого дела. Мало-помалу “между лафитом и клико” выкристаллизо-

вался план бегства ни больше ни меньше, как в Америку, ни больше ни меньше, как через Берингов пролив. Какой-то умник прослышал, что нарты и собачьи упряжки не пеленгуются локаторами пограничных застав и сторожевых судов, поскольку не содержат металла. И что будто бы, пользуясь этим обстоятельством, чукчи в урочное время снимаются целыми кланами и отправляются на лайках по льду к американским своякам на какие-то родо-племенные сабангуи, а после целы и невредимы возвращаются из Нового Света в Страну Советов с дареными винчестерами и белой горячкой в придачу. А так как делирием иные члены развеселого братства уже успели разжиться, то уточнение подробностей побега много времени не заняло. Постановили, что весь “орден” — человек восемь-десять, завербовавшись кто учителями в чукотские школы, кто разнорабочими в геологические экспедиции, получают разрешение на пребывание в погранзоне, встретятся в один прекрасный полярный день уже за полярным кругом, вотрутся в доверие к шаману (!) или вождю племени (!), завалятся при первой же предоставившейся возможности кучей-малой на сани, гаркнут кабыздохам “Н-н-н-о-о, залетные” и понесутся под сполохами северного сияния напрямиком на Аляску.

Только беспробудным пьянством, компанейским утаром и тепличным романтизмом запоздалого отрочества можно объяснить, почему умные и небесталанные люди клюнули на эту майнридовщину, решились на такое. Чиграшов принимал во всем этом живейшее участие и даже написал цикл свободолобивой лирики “Белый клык”, скопированный каллиграфическим почерком секретаря “ордена” в журнал ложи, в который горе-заговорщики имели глупость заносить стенограммы своих секретных заседаний, чем очень помогли следствию по “чукотскому делу”.

Было дадено дуракам и предостережение свыше, да неверно ими истолковано. Магистра “ордена” — Иванова, котофея-исполина, какой-то великовозрастный юнат вздернул на кленовом суку аккурат под самыми окнами Чиграшова, как стрельца под окнами царевны Софьи. Длинный кошачий труп с оскаленными зубами и одним приоткрытым глазом стал отныне нередким действующим лицом чиграшовских кошмаров и причиной стойкой котобоязни. Хоронили кота с музыкой (семиструнная гитара и саксофон) и поклялись на его могиле ускорить сборы, раз земля горит под ногами. Первым, в должности коллектора золотоискательской партии, вылетел на Чукотку фрондер-поэт. Через сутки он был арестован в Певеке, где — рот до ушей — безмятежно прогуливался по льду Восточно-Сибирского моря. Семеро участников задержания двадцатипятилетнего лирика были премированы именными часами и неделей к отпуску.

Вольно молодому поэту, с воспаленным сомнением, мужавшему среди эксцентриков и ущербных чудачеств, с сердцем, разбитым первой любовью, перепутать явь с вымыслом, но зачем понадобилось к этим бредням примерять всю строгость уголовно-процессуального кодекса — одному Богу известно. Власть повела себя, как бульдог Чироки, если воспользоваться для сравнения персонажем детской книжки и одноименного поэтического цикла, и вцепилась в романтика мертвой хваткой. За неделю до суда в одной из центральных газет появилась посвященная “чукотскому делу” свирепая статья “Накипь” и подборка не менее кровожадных писем трудящихся.

На допросах и очных ставках вчерашние друзья-товарищи сыпались, как горошоное сооружение от меткого удара. Впрочем, уже в нынешние времена один развязный восьмидераст, репортер бульварной газеты,

пробежав по диагонали материалы следствия по “чукотскому делу”, к которым, кстати сказать, меня на пушечный выстрел не подпустили, в заметке, написанной на омерзительной приклатенно-молодежной фене, мимоходом потрепал Чиграшова по плечу за “четверочное” поведение в пытошном приказе. Интересно, во сколько баллов этот говнюк оценил бы мои трепыхания в том же ведомстве двенадцать лет спустя? Как бы ни страдал меня мой недавний венецианский визави, неприятных сюрпризов быть не должно, я помню все слово в слово:

Он (Георгий, если не ошибаюсь, Иванович, следователь с типовым лицом. Говорит и по ходу разговора записывает): Ваш Чиграшов принадлежит к пренеприятной и довольно опасной категории людей. Таких, как он, по счастью, немного, а то бы жизнь давно превратилась в дурдом. Виктор Матвеевич, видите ли, вбил себе в голову, что земная ось совпадает с его позвоночником и единственно верный ответ на все вопросы мироздания — он сам, Виктор Матвеевич Чиграшов, и есть. А если по его, по-чиграшовски, не получается, с ответом не сходится, — пропади оно все пропадом. Мы тогда падаем на пол и сучим ножками в истерике — хочу и все тут. Причем мало того, что себя губит, еще и таких, как вы, несмышленьшей в свои авантюры вовлекает.

Я (сомлевший от страха молокосос-Криворотов): Если вы это об антологии — все наоборот: мы сами его пригласили.

Он: Это вам, губошлепам, только кажется. Чиграшов — подстрекатель со стажем. В молодости прорву народа под монастырь подвел — и теперь за старое взялся. Пресно ему живется, подвига захотелось — вот бы и красовался в одиночку, на свой страх и риск, никого с толку не

сбивая. Мы же его первые и уважали бы за удаль. Нет, ему невтерпеж шум вокруг собственной персоны поднять, кумиром юношества себя представить, молодняк, который он же сам в грош не ставит, “свиньей” построить. А в результате свинью-то он вам всем и подложил — и препорядочную. Ну, подняли вы, маменькины сынки, шум — и что с того? Не вокруг изобретателей нового шума, елочки точечные, а вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир — неслышно вращается он, как говорил Заратустра.

Я (*срываясь на фальцет и обмирая от собственной дерзости*): Это не так. Чиграшов с нами на равных. Это у вас здесь ведомственная субординация, это вам не верится в поэтическое равенство, цеховое.

Он: Ой, насмешили. Скажите еще равенство! Минуту внимания, небольшая музыкальная пауза. (*Включает магнитофон. Ищет какое-то время нужное место, гоняет пленку туда-сюда*). Вот — насладитесь. (*Сквозь попискивание и помехи сети я с изумлением узнаю плачущий голос моей матери, тогда еще живой*).

Голос матери: Виктор Матвеевич, верните мне сына. У меня сейчас и без того черная полоса в жизни, может быть, Лева вам рассказывал... (*плачет*). Извините, я совсем расклеилась. Он катастрофически запустил учебу, вы у него с языка не сходите... Мне хамит, возомнил себя гением... Он у меня хороший мальчик, но очень слабый и легко попадает под влияние. Есть у него способности к литературе — на здоровье, но образование еще никому никогда не мешало. Превратиться в люмпена — проще простого (*снова плачет*). А теперь вы еще отсылаете его на Памир.

Голос Чиграшова: Простите, как вас зовут?

Голос матери: Евгения Аркадьевна.

Голос Чиграшова: Знаете, Евгения Аркадьевна, я почти уверен, что он перебесится. Не умею этого объяс-

нить, косноязычен, но Лева — хозяин своих способностей, а не наоборот. Это с известной точки зрения утешительно. Так что все образуется. А что касается Памира, вашему сыну, по моему убеждению, лучше бы сменить обстановку, встряхнуться. Ничего, кроме пользы, от этого не будет, уверяю вас. Хотя вам, естественно, видней...

Голос матери: Не рассказывайте Лева, ради Бога, о нашем разговоре. Я уже жалею, что позвонила, но поймите и вы меня: я просто места себе не нахожу. Вразумите его, пожалуйста. Вас он боготворит и может послушаться. До свидания, еще раз извините. (*Всхлипывая, вешает трубку. Гудки.*)

Он (*нажимая на клавишу “Стоп”*): Как видите, вы пребываете в заблуждении: Чиграшов далеко не простодушен и пользуется вами, лопухами, как массовой. А ведь вы, Лев Васильевич, и впрямь талантливый человек. Поверьте мне, я не кат какой-нибудь, а свой брат, словесник; немножечко, между нами девочками, кандидат филологии и в чем-в чем, а в стихах толк знаю, ваши — очень даже недурственны, а обещают быть — о-го-го, если делов не наделаете. Вопрос стоит ребром: будете растить собственный талант и жить сами по себе или принесете свою будущность в жертву неудачническим амбициям спившегося недотепы? Полюбуйтесь, во что вы вляпались! (*Бросает на стол перед Криворотовым книжку в черно-красной обложке, на титуле — “Литерическая Вандея”*.) Более претенциозно назвать нельзя было, узнаю руку маэстро!

Я: Мы отказались от этого названия, произошло какое-то недоразумение.

Он: Произошла оговорка по Фрейду. Для Чиграшова все мероприятие — действительно Вандея, реванш, а вам, молодежи, в его затее отводится роль пушечного мя-

са. Жить надо своей жизнью, елочки точеные, а не превращаться в строку комментария. “Лотту в Веймаре” Манна не читали?

Я: Генриха?

Он: Томаса. А вы почитайте — найдете, над чем поразмыслить. Сходство ситуаций в глаза бросается, с той лишь разницей, что Чиграшов — не Гете: кишка тонка. Короче. Подписки о неразглашении я с вас брать не стану, а хоть бы и стал, язык за зубами держать — выше ваших скромных сил. Можете поэтому передать своему гуру, что сажать мы его будем, считаем до десяти, уже одиннадцать. “Эх, — скажите вы ему, — Виктор Матвеевич, охота вам пустословить по-прежнему? Или мало вам было Чукотки?” Не узнаете, откуда перифраз? Вижу по глазам, что нет. Пушкин, между прочим, а вовсе не запрещенный кровавыми лубянскими палачами автор. Вы, Лев Васильевич, плохо знаете классику, отечественную в частности, а туда же. Симпатичны вы мне и, говоря начистоту, так сказать, не для протокола, мне, может быть, тоже многое не нравится, елочки точеные, но вы, рабски подражая Чиграшову, носитесь, как, простите за выражение, дурень с писаной торбой, исключительно с собою, любимым, а меня уже “годы клонят” к общей пользе, “общему делу” (тоже, боюсь, незнакомое вам словосочетание?). Зарубите себе на носу и умейте отбарабанить без запинки в любом состоянии — спросонья, спьяну — в любом: “нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви” — из той же, пушкинской, к вашему сведению, работы сентенция. Что вы тут передо мной хорохоритесь и оскорбленную невинность из себя корчите? Вам, небось, мерещатся лавры мученика, поэтически-политические гонения и прочая чайльд-гарольдовская галиматья? Поли-и-и-тика! (с издевательской интонацией). Какая тут политика, Лев Васильевич? Тут

одна лишь уголовщина, причем с пэтэушным душком. Политик тоже сыскался. Пугач-то, пугач мы почему не сдаем?

Я: Какой пугач?

Он: Пушечка пятазарядная, последний “дар Изоры”...

Я *(с облегчением)*: Вот вы о чем... Так его Чиграшов потерял еще весной.

Он: Час от часу не легче. *(С металлом в голосе.)* Вы зачем ему передали револьвер? Что это у него за арсенал такой? Интересный у нас расклад получается: озлобленный отщепенец растлевает желторотых юнцов и старого дурака Адамсона, дошло уже до того, что запасается про черный день огнестрельным оружием. Зла не хватает! Сапфо ваша тоже хорошая прости Господи не в обиду вам будь сказано. Со свечой не стоял, врать не стану, но кое-какие умозаключения напрашиваются...

Я: Какие умозаключения?

Он: Вам виднее какие. *(Трубно сморкается в клетчатый носовой платок.)* Вы кумира своего порасспросите, старого сладкоежку, — много любопытного узнаете. Но мы отвлеклись на частности. *(Засовывая платок в карман, с деланным изумлением разглядывает книжку.)* Просто в голове не умещается — “Вандея”, фу-ты, ну-ты! А у самих молоко на губах не обсохло. Здесь семи пядей во лбу не надо, чтобы всех вас, умников, упечь куда подальше. Ну-ну, думайте, вам жить... *(Откидывается на спинку кресла и окидывает Криворотова взором отеческого сожаления, даже укоризны.)* Благодарю и не смею задерживать. Распишитесь вот здесь, теперь здесь, — нет, где галочка — и вот здесь. Отлично. Рад встречаться и впредь, но при более благоприятных обстоятельствах. Будьте.

Так что громкое разоблачение мне не грозит. А все равно противно, будто наступил в дерьмо.

Снова я свернул “на себя, любимого”.

А тогда, в пятьдесят девятом, суд был скорым и неправым. Трое застрельщиков, включая Чиграшова, получили сполна и отбыли в места лишения свободы. Лагерное начальство, в распоряжение которого поступил заносчивый поэт, за его спиной перемигнулось привести столичную штучку “в божеский вид” и определило Чиграшова для острастки на месячишко в барак с сущими выродками — насильниками и убийцами; страшно подумать, что они там с ним вытворяли (эти и подобные им сведения понадерганы мною из заметок коллеги Никитина).

Помню, как Чиграшов удовлетворенно хмыкнул, когда я сообщил ему, что, по моим прикидкам, примерно в то самое время, как он день-деньской вкалывал в деревообрабатывающем цеху анадырской промзоны, я, Лева Криворотов, в числе лучших учеников средних школ Киевского района после изнурительных и неоднократных репетиций, трогательно соразмерный букету казенных гвоздик, приветствовал в пионерском галстуке, пилотке и шортах XXII съезд КПСС.

— Jedem das seine, — сказал Чиграшов, питавший пристрастие к пересыпанию речи иноязычными фразами, не зная, по-моему, ни одного языка толком.

После освобождения Чиграшов вселился в бабкину комнату и зажил тише воды, ниже травы, наводя сильно поредевших знакомцев молодости (ту же Арину, например) на мысль о смирении паче гордости. Не знаю, не знаю. Однако, к его чести, роль “маленького человека” он играл без запинки и довольно натурально. Окончил на “отлично” бухгалтерские курсы и устроился счетоводом в трамвайный парк. Так он и жил: прилежно отсиживал за арифмометром в своей конторе с 9.00 до 18.00 за 140 рублей в месяц плюс премиальные, а двадцать четыре ра-

бочих дня в году законным образом отдыхал у старшей сестры на ее садовом участке в 70 километрах от города. Отпуск из года в год брал Чиграшов в сентябре, так как любил побродить по обветшалому лесу в поисках осенних опят — на них окрестности сестринской дачи бывали особенно щедры. На прощанье Чиграшов перекапывал Татьяне Густавовне огород под зиму и с несколькими банками домашних солений отбывал восояси — до следующего сентября.

На службе Чиграшова уважали за лагерный демократизм и за то, что, “белая ворона” в трамвайном депо, был он совершенно лишен интеллигентских замашек; а также за мрачноватую шутливость и ненарочитую значительность, которую очень чувствует простонародье. И за то, что не пил с ними, работягами, по-рабоче-крестьянски изо дня в день, а уходил в запой с достоинством.

Подругой и спутницей Чиграшов не обзавелся, легких романов вроде бы не крутил, а если и крутил, то совершенно втихую. По окончании рабочего дня напрямик направлялся домой, купив по дороге в угловом магазине чего-нибудь съестного. С полочки ездил на Птичий рынок и после долгих скитаний по рядам и привередливых распросов по уходу выбирал себе кактус позаковыристей. Новых книг не читал, а перечитывал старые, открыв набум на произвольном месте; словом, как уже было сказано, жил тише воды, ниже травы. Выкуривал он, сын своей матери, по пачке в день и той же марки папирос, шутя по поводу названия “Беломорканал”, нет ли, дескать, интересно, в Германии папирос “Дахау”? Существовал он, как хорошо отлаженный механизм, — хоть часы по нему сверяй, на судьбу не сетовал, но тягу к сочинительству как рукой сняло. На мои с придыханием расспросы отвечал излюбленной фигурой речи: “В моей

жизни было событие, которое навсегда слудло с меня пух идеализма”. А как-то добавил с кривой улыбкой:

— Еще удивительно, что я не ханжа. Творческое бесплодие самым благоприятным образом сказывается на уровне нравственности, а там и до ханжества недалеко.

Единственные художества, которые он себе позволял, это ходить и дома только в хороших узких туфлях (дань щегольству молодости или материнские гены?) и два-три раза в год впадать в запойное пьянство. Впрочем, такая вольность, как пьянство, в России не Бог весть какая экзотика и в глаза не бросается. Туфли — другое дело.

Запой Чиграшова — особая статья. Даже в таком безобразии Чиграшову не изменяли педантизм и обстоятельность, как это ни дико звучит. Щепетильный донельзя, он заранее чувствовал приближение недуга и, чтобы никому не быть в тягость и не одалживаться, когда допнется до плачевного состояния, загодя прикупал спиртное и устраивал заначки по всей квартире и в комнате. Брал в депо заботливо накопленные впрок отгулы.

— Развязал Матвеич, — с пониманием говорили работяги в обеденный перерыв под стук домино. Плюгавый Нормалек, всенепременный в каждом трудовом обществе шут на добровольных началах, очень похоже дергал вбок подбородком, порывисто менял на столе местами жестянку с окурками и полбуханки хлеба и изрыгал тарабарщину, изображая иностранную речь. (Род тика, быстрая череда навязчивых действий, присущих Чиграшову в минуты смятения.) Игроки двигали стульями и дружно гоготали с беззлобным матерком, но не искусству пересмешника — его за недосутом не замечали, — а нечастой доминошной комбинации: “рыбе по азу”.

Пил Чиграшов один, взаперти, в кухню старался попусту не наведываться и незримо для обитателей кварти-

ры проскальзывал в коммунальные “удобства”. К телефону не подходил и просил соседей говорить звонившим, что его нет дома и в ближайшую неделю не ожидается. Верным признаком начавшегося запоя была немецкая музыка — Бах, Букстехуде, Пахельбель — еле слышно проникавшая под утро в коридор сквозь дверь его комнаты. Соседи, пожилая татарская чета, понимали, что к чему, и звонили Татьяне Густавовне. Она расспрашивала их, когда началось, делала кое-какие вычисления в уме, набрасывала еще дня два и с невозмутимым видом приезжала к заблудшему брату. Расчет оказывался безошибочным: она заставала Чиграшова кротким и лежащим пластом на кожаном с высокой спинкой еще бабкином диванчике. И в течение нескольких дней приводила горемыку в чувство, мастерски комбинируя холодные домашние морсы с горячим бульоном, кефир с валерианой, валокордином и пустырником.

Изредка дело принимало более серьезный оборот. Во время одного из таких “исчезновений” мне позарез понадобилось повидаться с Чиграшовым, и я осмелился навестить к нему без предупреждения. Мэтр отпер стремительно, точно стоял за дверью наготове, и с хлопотливым видом и чрезвычайно буднично попросил меня помочь ему перепеленать красных человечков. Я смиренно согласился и, улучив минуту, на цыпочках прошмыгнул в коридор и набрал номер Татьяны Густавовны.

Недельное пьянство сменялось недельным же приступом беспросветной тоски и крайнего отчаяния, после чего Чиграшов понемногу входил в колею и пребывал в своем обычном ровном расположении духа.

Хорошо ли, плохо ли, но так он жил и жил бы еще Бог весть сколько и насытился днями, когда бы нелегкая

не дернула его согласиться на уговоры милейшего Отто Оттовича почитать на студии, сойтись с нами и выступить из тени. Дальнейшее теперь уже известно не только братьям по литературному цеху, но и более широкой культурной общественности, если только я не заблуждаюсь на счет существования оной.

Вот в каком духе намерен я закончить мое вступление к тому “Библиотеки поэта”: “Жить ему оставалось считанные месяцы, но он испытывал необычайное воодушевление и прилив творческих сил, вынашивал замыслы большой прозы. Феномен, исчерпывающе описанный Пастернаком и с его легкой руки получивший название “последнего года поэта”. Тучи сгустились над головой Виктора Чиграшова. Очень ему скрасила эти финальные месяцы жизни дружба с молодыми поэтами студии “Ордынка”, вошедшими в историю литературы, как “ордынцы”. Я был в их числе. Уход Чиграшова из жизни безусловно на совести тоталитарного режима, поэт был одной из последних жертв известного периода отечественной истории и т. д. и т. п.”.

По-моему, неплохо.

А хлопнул на прощанье дверью Чиграшов во вторую пятницу первого осеннего месяца, часов этак в пять вечера — показания медиков расходятся. Этот день представляется мне воронкой, черной дырой, куда ухнуло что-то главное. Или наоборот — метафизической колдобинной, подпрыгнув на которой, жизнь моя барахлит по сей день. Иногда мне кажется, что все дальнейшее, включая настоящее, — затянущееся и скрежещущее движение юзом.

Я ощущаю участь Чиграшова, как свою, кишками, и мне важно, чтобы его жизнь публики получила из моих рук, они достаточно чисты, смею надеяться. И его смерть тоже. И на ту, и на другую у меня существуют не-

пререкаемые права. Так и хочется сказать в соответствии со стилистикой подлого нашего времени “эксклюзивные”.

Итак, 13 сентября 197... года, четыре с четвертью пополудни. Весь — молодость, глупость, вздорная озабоченность, я взмыл к нему прямо из кровавых застенков и с релетилдовской одышкой отрапортовал, что сатрапы-де борзеют, явки рассекречены, враг не дремлет и прочие страсти-мордасти. Изображал, как умел, допрос в лицах, умолчав, правда, о записи обидного телефонного разговора, вдавался на нервной почве в подробности, повторялся от возбуждения.

— Пушкина я читал, — прервал Чиграшов в соответствующем месте мой горячечный монолог и уже больше не прерывал.

Судя по его расфокусированному взгляду и кукольной светливой жестикуляции, он только-только выбирался из запоя. И что-то невразумительное Чиграшов говорил, когда я наконец умолк, и улыбался виновато, и смотрел мимо меня в окно, но я слушал его вполуха, оттого что через считанные минуты ждала меня у Грибоедова Аня, а карман мне оттягивали ключи от пустующей приятельской квартиры. И еще потому, что молод был, дурачок, и переполнен шишучкой восторга. Увертюра моей жизни превосходила все мои ожидания: мне двадцать лет, имя мое гремит по миру наряду с именем самого Чиграшова, гонения мои благословенны, ибо лишний раз доказывают правоту самых дерзких моих юношеских догадок на свой счет. И даже телефонные отзывы Чиграшова, если разобраться, должны не огорчать, а радовать, поскольку — чем черт не шутит! — могли означать просто-напросто творческую ревность. Разве не собственными ушами всего две недели назад под крупными памир-

скими звездами слышал я по радио сквозь треск и помехи, как Маша, кажется, Слоним прокуренным вражьем голосом делилась своими впечатлениями о напумевшей антологии! Разве не мое четверостишие отчеканила она дикторски-бесстрастно, как чужое, а Чиграшова помянула лишь мимоходом и под занавес! О Чиграшове вскользь, а о моих стихах чуть ли не целую минуту эфирного времени! Это мы еще посмотрим, кто “хозяин своих способностей”, а кто “наоборот”! Уж не завидует ли мне он, а? Акела промахнулся! А главное, и все случившееся тому порукой, что я — настоящий, всамделишный поэт, а стало быть, и Ане ничего иного не остается, как взять свои слова обратно и со всеми ее родинками стать моею навсегда — и уже сегодня, в ближайший час.

— Пожелайте мне удачи, — перебил я Чиграшова.

— Доброй охоты, Маугли, — откликнулся он, по-прежнему глядя в окно.

— А? — переспросил я, пораженный общностью наших инфантильных ассоциаций.

Он стремительно произвел на подоконнике рокировку пачки “Беломора” и коричневого яблочного огрызка, пробормотал “Ordnung muss sein” и залопотал-залопотал уже полную околесу.

— А? — переспросил я снова.

— Ничего, Лева, ровным счетом ничего. Сотрясение воздуха.

Вот и все.

Свидетелем дальнейшего не был никто. Но кому, как не мне, предложить современникам и потомкам свою версию произошедшего в эти считанные минуты и описать всю драматичную последовательность оставшихся мгно-

вений. Думаю, что сумею обойтись без чрезмерной отсебятины.

Жаль, наш брат, литератор, не волен живописать два одновременных события зараз, как справедливо заметил коллега Лессинг. А то бы зрелище получилось впечатляющее. Но можно вообразить два экрана или один, поделенный надвое. Скажем, на левой части полотна — крупным планом Чиграшов в своей комнате, на правой — я, Левушка-лапушка, поспешаю к монументу комедиографа. 16 часов 55 минут. По-летнему тепло, люди потянулись со службы.

Чиграшов запирает за мною дверь, выпивает у себя в комнате, присев на край табурета, стакан водки, щелчком посылает папиросу из пачки, с чувством, с толком, с расстановкой затягивается полной грудью, внезапно раздумывает курить и прилежно плющит едва начатую “Беломорину” о дно стеклянной пепельницы, выдвигает ящик стола и достает что-то (камера наплывает), оказавшееся пятизарядным дамским револьвером, засовывает дуло себе в рот, стискивает железо зубами и стреляет на счет три.

В это же время на соседнем экране я жду Аню. Жду очень долго, пока совсем не смеркается. Но она не приходит, чтобы не прийти на свидания со мной уже никогда. С недавних пор это можно сказать с полной определенностью. Отныне даже тешившее меня без малого тридцать лет никчемное упование на счастливую случайность, допустим: столкнуться с Аней лицом к лицу где-нибудь в нашем городе (“Как, Лева, жизнь?” — “Спасибо, не задалась”.) — исключается категорически, потому что Аня умерла три месяца как.



Слова с лязгом смыкались, точно оголодавшие друг без друга магниты. Оторопь восторга брала сразу, со скоростью чтения с листа и быстрее осмысления и осмысленного одобрения — как отдача при меткой стрельбе, когда приклад поддакивает в плечо, знаменуя попадание в “яблочко”, а стрелок еще не выпрямился, чтобы оценивающе сощуриться на мишень. Строфы разряжались значением — и прямым, и иносказательным — во всех направлениях одновременно, как нечаянно сложившийся магический кроссворд, образуя даль с проблеском истины в перспективе. Вылущивание “удач”, “находок” и прочее крохоборство исключалось — эти понятия принадлежали какому-то другому смиренному роду и ряду; здесь же давало о себе знать что-то из ряда вон выходящее, и ум заходил за разум от роскоши и дармовщины. Автор умудрялся сплавить вниз по течению стиха такое количество страсти, что, как правило, в предпоследней строфе образовывались нагромождения чувств, словесные торосы, приводившие к перенапряжению лирического начала, и, наконец, препятствие уступало напору речи, и она вырывалась на волю, вызывая головокруже-

ние свободы и внезапное облегчение. Бухгалтерия и поэтический размах сочетались на замусоленных страницах в таких пропорциях, что вывести формулу этой скрупулезно вычисленной сумятицы взялся бы разве что беззаботный болван с ученой степенью. Все слова жили, как впервые, отчего складывалось впечатление, что автор обходится без тусклых разночинно-служебных частей речи — сплошь словарной гвардией. Школьные размеры присваивались до неузнаваемости. И только задним числом становилось ясно, что это всего лишь хорей, только лишь анапест — та-та-та́.

• Криворотов слепо отложил в сторону очередной машинописный лист с прививкой ржавой скрепки в левом верхнем углу.

Сочинитель не упускал случая отозваться о себе самом с холодным пренебрежением, что могло бы восприниматься, как кокетство, если бы не было искренней неусветной гордыней. И общий тон дюжине стихотворений задавала гремучая смесь чистоты, трепета, вульгарности, подростковой застенчивости перед наваждением писательства.

В оцепенении и недоумении Криворотову почудилось, что стихи набраны особым каким-то шрифтом. Да нет — копия как копия, причем даже не первая, скорее всего, и не вторая. И все это вместе взятое — травмирующее, производившее затруднение в груди и побуждавшее учащенно сглатывать — не было целью сочинения, а единственно следствием того, что автором рукописи был не имярек, пусть тот же Лева, а человек, видевший вещи в свете своих противо- или сверхъестественных способностей.

Криворотов стал мысленно озираться в поисках промахов и, как за последнее спасение, ухватился за

слабые, по школярским понятиям, рифмы. Но вскоре выпустил эту соломинку из рук и честно пошел ко дну: автор, очевидно, располагал иным слуховым устройством, сводящим на нет ремесленный педантизм тугого на ухо Левы. Криворотов рифмовал, точно поднимался по лестничному маршу, ведомый изгибом перил. А Чиграшов употреблял рифму для равновесия, как канатоходец шест, и шатко скользил высоко вверху, осклабясь от страха и отваги.

Криворотов поднял голову от машинописи, чтобы перевести дух, и не сразу узнал комнату — будто вымыли окна.

Абсолютное превосходство исключало зависть, которая без устали примеряется и сравнивает. Почва для сравнения отсутствовала начисто — у ног Криворотова зияла пропасть. Он испытал восторг и бессилие. Даже фамилия “Чиграшов”, еще недавно казавшаяся пацанской, гаврошисто-грошовой, звучала теперь красиво и значительно.

И было в рукописи стихотворение, к которому Криворотов возвращался по несколько раз на дню чуть ли не украдкой от самого себя. Так, считается, преступника невозможно влечет на место преступления, а подросток воровато открывает, захлопывает и вновь открывает под партой, будто наобум, журнал с голой женщиной на развороте, а писатель, кусая заусенец, тайком, хотя в комнате никого нет, многократно перечитывает один и тот же абзац в критическом обзоре, где следом за названием его, писателя, книги стоят тире и всего два слова — “беспорный шедевр”. Аня просвечивала сквозь чиграшовские четверостишия четче и вела себя живее, чем на любительской киноленте Левиного близорукого воспоминания.

И безо всяких стихов заочное присутствие девушки кружило голову с первых же минут ежедневного пробуждения, сопровождало лихоманку бодрствования, было последней заботой засыпающего Криворотова и даже во сне давало о себе знать то в образе Ани, то под чужой, но всегда сползающей личиной.

Катапульта маниакальной фантазии срабатывала произвольно, но предсказуемо, отсылая Левино воображение всегда в одну и ту же сторону. Увядший трамвайный билет со дна кармана, намек на знакомый запах парфюмерии от рукава Левиной куртки, вполне невзрачное слово в книге или разговоре вдруг самым окольным путем, но вмиг воссоздавали Аню всю — от походки до лунок ногтей на руке. Уличный фонарь, сквозняк из форточки, дачный перрон — любая малость — напоминали Аню, потому что Аню напоминало все.

Криворотов был застигнут врасплох напастью, знакомой до поры лишь понаслышке и по книгам, как смерть, война, неволя и прочие грозные материи. Но что бы там ни говорили и ни писали в книгах, долгожданная драма, подтверждающая личную причастность Левы к Жизни с прописной буквы, почему-то привычно мыслилась делом неопределенного будущего, переносилась на потом и не могла, по Левиному ощущению, взять и начаться сразу, в одночасье, без бетховенского стука в дверь и знака свыше. Лева пришел на память негр-сокурсник, высунувшийся по пояс из окна общежития и оторопело ловивший черной рукой хлопья первого снега, о котором конголезец не раз что-то слышал у себя на родине и все-таки оказался не готов встретить невидаль хладнокровно наяву. Лева тоже был озадачен до изумления, что потасканное слово, уже двести лет кряду до одури рифмующееся с “кровью”, и “бровью”, и вовсе не новым “вновь”, в подоплке предполагает реаль-

ную эмоцию — и эта реальность может иметь к нему, Криворотову, самое прямое отношение и вдруг заявит о себе столь убедительно и очевидно, что никак не получится не заметить — так преобразится все внутри него и снаружи от чувства, выпавшего на его долю неожиданно-негаданно, как снег на голову.

Когда бы достало силенок, ровно такими, как у Чиграшова, стихами Криворотов хотел бы отпраздновать крах собственной любви — тьфу-тьфу-тьфу! Чиграшов не описывал глаз, цвета волос и легкой поступи утраченной подруги, но ее силуэт и повадка угадывались в зазорах между словами. Снова не то! Именно гибельным отсутствием возлюбленной и объяснялось раздолье черному с желтизной свету в этих строфах, и пустота хватала воздух ртом.

Функции Создателя в стихотворении препоручались любимой женщине. Своими прикосновениями она преображала безжизненный манекен мужской плоти: наделяла его всеми пятью чувствами и тем самым обрекала на страдание, ибо, вызвав к жизни, бросала мужчину на произвол судьбы. Этот вывод напрашивался по прочтении последней строфы, где внезапно появлялся ребенок, играющий с юлой и доводящий ее до бешеного вращения с ровным шмелиным жужжанием. А потом вдруг теряющий к игрушке всякий интерес и меняющий забаву. И с дивной звукописью описывалось сходящее на нет вращение — убывающий, с ущербным приволакиванием гул юлы, погромыхиванье и чирканье боком об пол.

Это стихотворение, как и все прочие с любовной тематикой, посвящалось некоей А. Совпадение инициалов впечатляло дальше некуда.

Накануне вечером Криворотов и Аня курили в беседе пустующего детского сада, а Криворотов время от

времени предпринимал безуспешные попытки всего только поцеловать Аню, не говоря уж о том, чтобы запустить руку ей под пальто. Обескураженный очередной тщетной атакой, Лева вспомнил, что прихватил из дому стихи Чиграшова, извлек малость помятый рулон из-за пазухи и для вящего эффекта молча, не расточая восторгов наперед, смакуя первое чужое прочтение, положил рукопись Ане на колени. Она читала, а он поедал ее взглядом.

— Отведи глаза, не то я задымлюсь, — сказала Аня, не подымая лица от страницы.

Прозаическая беглость и невозмутимый вид, с которыми девушка перелистывала машинопись, были бы уместны по отношению к конспектам лекций по гражданской обороне, но не к таким стихам. Криворотов отобрал у Ани список:

— Дай лучше я.

Он читал стихи Чиграшова почти наизусть, вибрируя, будто при чтении собственных, только гораздо лучших — собственных идеальных. Аня слушала рассеянно, даже, как заметил Лева краем глаза, в самом пронзительном месте нашла возможным снять нитку с чулка и шумно сдуть табачный пепел с рукава Левиной куртки. Срывающимся от воодушевления голосом Лева закончил декламацию.

— Ну какво? — торжествующе спросил он, сворачивая листы и отправляя их во внутренний карман куртки.

Аня пожала плечами и глубокомысленно сравнила услышанное с нашумевшими писаниями официально-либерального рифмоплета, а после сказала, что нечто подобное делала раньше и она. Лева поднял на девушку глаза с печальным недоумением — она разом оказалась далеко-далеко, точно через повернутый задом наперед сорокократный полевой бинокль.

Очень по-женски лишенная всякого чутья и вкуса к поэзии, Аня была поэтически зряча в живой жизни, и ее наблюдательности Криворотову случалось и позавидовать, хотя по части подметить что-нибудь этакое в природе или людях он был вроде малый не промах. Что готовый к побегу кофе будто бы силится снять свитер через голову — это он у нее позаимствовал. Или что едва вылупившиеся листья липы похожи на лягушачьи лапки. Или те же концентрические круги голых веток вокруг фонарей. Всё Анина наука...

Равнодушие Ани к стихам Чиграшова сильно задело Леву, хотя куда больше Аниной слепоты на лирику его огорчало, что со дня первого свидания с поцелуем в завершение он не продвинулся ни на шаг — даже сдал позиции.

С минувшей среды двухкопеечные монеты резко подскочили в цене, ибо давали возможность, едва дотерпев до утра, из будки телефонного автомата у поселковой аптеки звонить Ане и выцыганивать у нее очередное неотложное свидание. Уже в четверг Криворотова умилил Анин решительный переход “на ты”, свидетельствующий о том, что давешний поцелуй принят к сведению не только им, Левой. Но этим дело и ограничилось. При встрече Аня наотрез пресекла дальнейшие посягательства, упрекнув Лева в грудь ладонь со словами:

— Ну-ну, охлади свой пыл!

На университет Криворотов окончательно махнул рукой, потому что весь день без остатка у него теперь бывал занят двумя трудоемкими начинаниями, которые к тому же приходилось осуществлять одновременно: преследование Ани и отлынивание от свиданий с Ариной. Будто он играл зараз в “салочки” с одной женщиной и в “прятки” с другой и должен был поддерживать в каждой

из них уверенность, что ни на минуту не раздваивается, да и не играет вовсе.

Продетая в дверную ручку язвительная записка от Вышневецкой, прочитанная Львом по возвращении со вчерашнего свидания, повергла его в уныние. Леву удручили и обвинения в малодушии, и намеки на Аню (“не подозревала о Вашей постыдной слабости к провинциальным графоманкам...”). Особенно чувствительным был упрек в “удивительной ординарности поведения, настаораживающей в человеке, числящем себя поэтом”. Криворотов гнал прочь думы об Ариной беременности, но они упорно громоздились на задах сознания. Кроме того, у Льва кошки скребли на сердце при мысли о том, что рано или поздно, а вернее в ближайшую среду на студии, когда все будут в сборе, всплывет и его предательство по отношению к Никите, с которым он только сегодня разговаривал минут двадцать по телефону из города. Но поскольку почти все время заняло Левино чтение стихов Чиграшова, разговора начистоту удалось избежать, а сам Никита щекотливых вопросов не задавал — да и откуда ему было знать? Лева, во всяком случае, надеялся, что Аня с Никитой не видятся, и делал все от него зависящее, чтобы у девушки не оставалось ни времени, ни сил, ни охоты встречаться с его соперником. Приближение среды тяготило: взамен того, чтобы слушать и разглядывать Чиграшова, предмет своего страстного заочного интереса, Леве придется вертеться, как ужу на сковородке, в одной компании с двумя женщинами — любимой и нелюбимой — и соперником, руки которому, конечно же, развяжет присутствие Арины. Поэтому Лев даже обрадовался, когда Аня сказала, что по каким-то там причинам не пойдет в среду в полуподвал на Ордынке.

Во дворе перед входом в студию было на редкость людно, что даже привлекло внимание сидевших у соседних подъездов старух на одно лицо, охотниц выпрашивать у чужака, к кому и по какой надобности он идет, вместо того чтобы ответить на прямой вопрос и назвать номер дома, возле которого старые образины добровольно дежурят последние сто лет, дуруя от сплетен. И народ у студийной двери подобрался непростой — чиграшовское поколение: среднего возраста и старше бородатые или долгогривые мужчины со спутницами Арининого пошиба. В этот блестящий круг и стремился Лева попасть когда-нибудь за счет собственного таланта, но и не без помощи Арины. Вот они какие, голубчики, вблизи: стоят кучками, курят, посмеиваются, целуются с вновь прибывшими — верно, давно не видались. Артисты как на подбор, но кто же из них Чиграшов? Или этот, в черных очках? Вряд ли, больно весел... И пижон в седых бакенбардах не может быть Чиграшовым, скорее всего какой-нибудь художник-авангардист. Лева переступил порог полуподвала и обвел глазами пестрое сборище.

Вадим Ясень притулился в углу, был трезв, робок, тих и вяло приветствовал Льва поднятием ладони. Середина первого ряда была занята пролетариями — их полку прибыло, и один из работяг что-то левой рукой царапал в тетради на остром колене, выставив на всеобщее обозрение тусклую плешь и тылы огромных оттопыренных ушей. Старшеклассники стояли тесным кружком и дружно говорили куда-то себе под ноги. Наверное, Адамсону, смекнул Лева. За их спинами в ожидании своей очереди на тет-а-тет грыз ногти электроугольский сладострастник-теоретик. Никита с Додиком судачили у окна и поманили Криворотова присоединиться к ним. Но Криворотов не шелохнулся, потому что уже видел Чиграшо-

ва — тот оживленно болтал с Ариной у соседнего оконного проема. Да, таким себе Лева и представлял Виктора Чиграшова. Выше среднего роста. Хорошо сложен. В джинсах и облегающем черном свитере под самое горло. Шкиперская бородка и короткая стрижка с густой проседью. Твердый рот с горькими углами. И глаза. Глазищи. В пол-лица. Арине, видимо, так по душе пришлось *tot* блистательного собеседника, что она поперхнулась сигаретным дымом, и закашлялась от смеха, и, пока кашляла, встретилась взглядом с Криворотовым. Вышневецкая сделала извиняющийся жест в сторону Чиграшова и, продолжая откашливаться в кулак, направилась ко Льву, у которого екнуло сердце, поскольку он догадался, что Арина хочет вот так, запросто представить его человеку, ставшему всего за неделю Левиным излюбленным по-этом. Из-за спины раздалось Адамсоново:

— Господа, у нас сегодня, как говорится, яблоку упасть негде. И моя приятная обязанность, точнее, мне выпала честь...

— Это не он, Бемби, — с покровительственной улыбкой проговорила, поравнявшись с Криворотовым, Арина и прошествовала мимо, в передние ряды.

И в подтверждение ее слов жгучий красавец лже-Чиграшов картинно выбросил руку в направлении кафедры, заставив всех смолкнуть и повернуться лицом к фанерной трибуне, и заорал громким, пронзительно глупым, никак не сообразным с породистой внешностью голосом:

— Я рад, что наши ряды не пожидали, а жиды не поредели! Виктор Чиграшов! — и зашелся визгливым смехом.

А тот, кого он так смачно приветствовал, затрапезного вида дядька с чудными ушами, принятый Криворо-

товым походя за одного из жэковских водопроводчиков, уже стоял за кафедрой и, страдальчески, будто после столовой ложки рыбьего жира, улыбнувшись на возглас волюющего балагура, продолжал перелистывать приплясывающими перстами страницы раскрытой перед ним тетради. Постыдно обознавшийся Лева с удвоенным во искупление своего промаха любовным вниманием вперился в физиономию Чиграшова подлинного. Над кафедрой возвышался активно некрасивый, почти уродливый человек умеренно иудейского толка, плешивый, невероятно лопоухий, с вислым пунцовым ртом. Глаза как глаза, внимательные и невеселые. Он был невысок ростом, жилист, сутул, и непропорционально длинные руки — с венозными крупными кистями, схваченные в запястьях тесными на пуговке манжетами белой рубашки, по-женниховски торчавшими из рукавов черного пиджака, — подчеркивали что-то очень обезьянье, человекообразное, с первого взгляда угадывавшееся в облике Чиграшова. Да-да, именно: печальный примат со слезящимися смышленными глазами, ряженный цирковой шимпанзе — вот кого напоминал готовящийся к выступлению мужчина. Худая заросшая шея и косо застегнутый пиджак подтверждали справедливость непочтительного сравнения. Чиграшов явно волновался, но, помимо нынешнего волнения по случаю, сквозило в его чертах и поведении нечто постоянное, охарактеризованное Левой задним числом, как измерение скуки. Зал долго рассаживался, двигал стульями, сморкался, переговаривался. Неожиданно Чиграшов рывком поменял местами стакан с чаем и импровизированную пепельницу, так что плеснул на открытую тетрадь — кто-то рассмеялся.

— Да, — улыбнулся Чиграшов, — давно не читал, забыл, как это делается.

— Начни с “Белого клыка”, — выкрикнула из зала Арина.

Чиграшов поморщился, точно от второй ложки рыбьего жира, и тем же голосом, каким только что делился с публикой своими затруднениями, без перехода начал читать. Не все сразу поняли, что волокита окончена и автор приступил к чтению. На середине второй строфы он сбился, и Лева уже открыл рот для подсказки, когда раздалось жалобное мяуканье и собравшиеся разразились хохотом. Криворотову захотелось встать в рост и бросить в толпу черни бомбу.

— Как тебе нравится этот слушатель? — обратился к выступавшему лже-Чиграшов, подняв с полу плюгавого котенка и таща его за шиворот к выходу. Кафедра заграждала проход, и душа-человек обратился к Чиграшову:

— Витька, не в службу, а в дружбу, выбрось засранца за дверь и читай себе на здоровье.

— Вообще-то я их побаиваюсь, — сказал Чиграшов и на вытянутых руках, как ребенок, понес котенка к дверям. Когда он кое-как, под смех и советы публики, справился с возложенным на него поручением и воротился на свое место, на запястье правой руки краснела свежая царапина, а обшлаг рубашки был замаран. Зал оживился:

— “На разрыв аорты”...

— Производственная травма.

— Не кот, а прямо дантес какой-то.

— Хорошая кличка для кота: Дантес.

— Отто, нет в твоей богадельне йода? — спросил красавец.

— Советую прижечь каленым железом, — раздался откуда-то сбоку деловитый голос Додика.

Чиграшов добродушно осклабился и столь же внешне, как и вначале, но куда энергичней принялся чи-

тать, словно пустячное происшествие придало ему куража. В студии Адамсона этак не читали. Принято было воздеть отсутствующий взгляд горе, заложить руки за спину, сомнамбулически раскачиваться из стороны в сторону и читать нараспев, с поэтичным подвыванием. Чиграшов же читал прозаично, без рулад, но и без “выражения” в школьном, синтаксическом смысле, — а произносил слово за словом и строку за строкой на одной ноте, точно разговаривал вслух сам с собою: “мол, так и так, и ничего тут уже не попишешь”. Удивительно, но это действовало не хуже любого экстатичного исполнительства. На лице чтеца лежал рубиновый отсвет, потому что Чиграшов стоял под люминесцентной лампой и уши его просвечивали краснотой, как детский палец на кнопке вызова лифта.

Многое из услышанного Криворотов знал по Арининому списку, прозвучали и несколько неизвестных стихотворений, особенно запомнились два. В первом в ямбические, ноющие, как ушиб, причитания отверженного любовника каким-то чудом, как все у Чиграшова, был вплетен телефонный номер подруги (еще шестизначный, начинавшийся с буквы, разумеется, с А). Ближе к концу вещи поэт совершенно неожиданно менял пластинку и вступал в деловые переговоры со Всевышним. Суть торга сводилась к тому, что лирический герой давал согласие на повторную библейскую операцию на грудной клетке. При условии, что в результате хирургического вмешательства он обзаведется новой спутницей, неотличимой от утраченной.

А во втором стихотворении — сидел человек, зевалка-зевакой, погожим днем на бережку реки, покуривал, таранился по сторонам и на воду, а после преспокойно делал пиф-паф себе в лоб.

Криворотов с удовлетворением отметил, что понемногу освоился с манерой Чиграшова усыпить внимание читателя какой-нибудь одной интонацией или картиной, а после бросить его без предупреждения в совершенно не предвиденную коллизию, а самому уйти вон из стихотворения, да оно, собственно, и кончилось. В полном согласии с подмеченнойлевой особенностью автор и завершил выступление, точно оборвал на полуслове.

— И это все. В общих чертах, — сказал Чиграшов, сошел с кафедры и достал из кармана початую пачку “Беломора”.

Криворотов почувствовал, что теряет голову от страстной приязни и восхищения. Кто-то звучно высморкался сзади, и Лева понял, что шумы, шорохи и переговоры, бесившие его в начале чтения, уже давно сменились на абсолютное безмолвие, раскачать которое теперь было немногим проще, чем тогда навести тишину. Арина, цепляясь за стулья длинной шалью, поспешила к Чиграшову с невесть откуда взявшейся розой и попробовала было припасть к его руке, но он предупредил ее порыв и первым ткнулся ртом ей в браслеты. Оба рассмеялись. Богемные приятели молодости окружили поэта. Отто Оттович пронырнул сквозь это оцепление к Чиграшову с растроганным лицом и чуть ли не мокрыми глазами:

— Витенька, дорогой, нет слов, аж сердце заболело, дай я тебя поцелую.

— Спасибо, Отто, — сказал Чиграшов, наклонился к Адамсону, и литераторы расцеловались, причем карлик от полноты чувств мямл Чиграшову уши.

Криворотов обернулся и нашел глазами Никиту и Додика. Никита покладисто сделал жест “сдаюсь”, а Додик поднял вверх большой палец правой руки — Лев не ошибся в друзьях.

— То-то же, — сказал он, словно все произошедшее было его заслугой.

Но энтузиаст Адамсон все не мог утомониться и, наспех позаимствовав у Додика папку со стихами участников будущей антологии, норовил всучить ее герою дня.

— Имеет ли смысл, Отто? — попытался отбояриться Чиграшов. — И как я ее верну по прочтении?

— Мне не сложно зайти, я живу там поблизости, — выпалил Криворотов и тотчас едва сквозь землю не провалился от стыда, так опрометчиво выдав свое заветное желание сойтись с кумиром покороче: все кому следовало прекрасно знали, что Лева живет в Подмосковье, а местожительства Чиграшова Льву вроде и знать не полагалось. Но дело было сделано — и красный как рак Криворотов записывал под диктовку Чиграшова его адрес и телефон.

“Чертова дыра, — выйдя с друзьями на воздух, подумал с нежностью Криворотов о полуподвале карлика. — Что ни неделя — событие. Прошлый раз — Аня, сейчас — Виктор Чиграшов! В одну воронку, говорят, дважды не попадает, а вот поди ж ты! Началось, теперь только держись”.

Криворотов не ошибался, предчувствуя, что скучать будет некогда. Весна шла вразнос: снег таял быстро, как масло на противне, и стоял за неделю окончательно, тотчас полезла травка, стало по-летнему тепло, и воздух в кронах тополей и кустарнике вдоль железнодорожного полотна и на газонах в городе замутился, точно в стакане воды сполоснули кисть после зеленой краски. Была во всем этом противоестественная и наглядная стремительность учебного фильма по ботанике, когда в темноте на экране росток под землей выпрастывается из горошины и

бодает маковкой почву, а уже через миг-другой побег извивается на воле и выбрасывает вправо и влево листья, взрослея на глазах. Не уступая в скорости изменениям ландшафта, менялись и обстоятельства Криворотова.

Судя по тому, что Аня весело перебивала Левин рассказ о чтении Чиграшова, вставляя в него уточняющие подробности, как то: эпизод с котенком и описание чиграшовских чудо-ушей, Леву опередили — Никита, разумеется, больше некому, да она и не скрывала, что виделась с ним. Криворотов попробовал закатить Ане сцену ревности, но не тут-то было.

— С меня хватит и одного надсмотрщика — тет-ки, — сказала ему девушка. — Не нравится — силой никого не держу.

Криворотов смирился поневоле, но ревность его росла, колосилась и матерела не хуже того самого растения со школьной киноленты. Изо дня в день он жил в подвешенном состоянии, гадая, откуда ждать подвоха, и мрачно собирал до кучи невыносимые мелочи, свидетельства Аниного к нему безразличия.

С горечью замечал Криворотов, что неповторимая очаровательная гримаса, с которой, как казалось ему, Аня встречала именно его, вовсе не неповторимая и не ему одному адресованная: так же улыбалась она и Никите, с той же пленительной ужимкой поправляла лацкан пиджака Шапиро, охотно отзывалась на приглашение Ясеня “хлебнуть из горла” и попутно с деланой укоризной снимала длинный волос с его рукава, возмутительно равномерно расточая очень интимное, душемутительное обаяние. Если, удрученный ее невниманием, Лева маялся и злился на обочине какой-нибудь компании, куда он же по-другу и затащил, Аня и не думала утешить его и выделить из разношерстного сборища хотя бы мельком брошенным

взглядом или кивком. И раз, и два срывался он, бывало, к дверям в бешенстве, но, оборотясь на пороге в жалкой надежде встретить Анин озадаченный взор, — о большем Криворотов не мечтал — видел он ее по-прежнему поглощенной болтовней под вино, хорошо еще если с особой женского пола — обычно же с откровенным бабником. Когда Леве случалось в порядке реванша приударить по пьяному делу и облапить какую-нибудь пышнотелую потещу в слишком близком танце, расчет его на Анину ревность не оправдывался: она все и всегда замечала, но только подмигивала ему ободряюще через комнату и тотчас продолжала беззаботно участвовать в общем галдеже. Как-то они стояли у окна студии и трепались. Вдруг Аня очень издали, словно сквозь набежавшее воспоминание, улыбнулась кому-то через Левино плечо, как почудилось мнительному воздыхателю, со значением. Криворотов обернулся: в дверях медлил Никита и вторил Аниной улыбке, точно имел в виду что-то, касающееся только их двоих. Обычно же, заставая Анну и Льва разговаривающими с глазу на глаз, Никита, в отличие от Криворотова, не трудился скрывать своего недовольства, словно у него были какие-то свои особые права на Аню. О том, что они у него действительно были кое-какие, Криворотов и думать забыл — слишком поглощали его собственные переживания. А от мизансцены, незванным свидетелем и участником которой ему довелось стать в конце апреля, Лев еще долго готов был на стену лезть, рисуя в воспаленном воображении картины кромешного разврата, предшествовавшего нечаянному Левиному появлению.

Он решил нагрянуть к Ане без телефонного звонка, потому что знал наверняка, что тетка в отъезде, а Аня, по ее заверениям, денно и ночью пишет курсовую и поэтому в ближайшие дни недосыгаема. Но Криворотов мо-

чи нет как соскучился. Аня отперла не сразу, на Криворотова пахнуло вином и прерванным чужим оживлением. Привычно увернувшись от поцелуя, Аня провела Льва в комнату, где очень по-свойски в единственном кресле расположился друг ситный Никита, приветствовавший его, привстав, издевательски-почтительным наклоном головы. Литровая и, видимо, уже порожняя плетенка “Каберне” стояла на журнальном столике среди учебников и тетрадей. Ужасней всего было одеяние Ани. Она щеголяла в сандалетах, коротеньких шортах в обтяжку (то есть Никита, а не Лев первым увидел ее голые ноги и пальцы ног!). Ковбойка, под которой не угадывалось лифчика, была лихо завязана узлом на животе. И вот на этот пупок, на эти пятки, щиколотки, икры, коленки и выше, выученные и освоенные Криворотовым заочно в пекле бессонниц от воздержания и вожделения, запросто паялился человек, от неприязни к которому у Криворотова сводило внутренности.

— Я не знаю ровным счетом ни-че-го, — сказала Аня, мелодраматично уронив руки. — Абсолютный ноль, а завтра последний срок. Никита диктует, я пишу. Так что в твоём распоряжении пять минут, иначе меня вышибут с треском. Чаю хочешь?

И она скользнула мимо Криворотова в кухню, еще раз обдав его запахом вина и пугающей девичьей вольницы.

— Мило, — только и сумел промычать Криворотов и плюхнулся на стул.

Через минуту выразительного молчания он выдал из себя:

— По-твоему, это по-товарищески?

— Напомнить тебе день за днем развитие событий? — спросил в ответ Никита. — Как говорит в таких случаях мой дед, на свое же дерьмо с топором.

— Ну-ну.

И, наткнувшись в потемках прихожей на полутолую Аню с чашкой чая на весу, Криворотов пляшущими руками справился с дверным замком и затоптал вниз по лестнице.

Но уже спустя неделю, после страстных клятв в совершенном презрении и упражнении в равнодушии, он как миленький, как проклятый, с падающим сердцем накручивал на телефонном диске семь цифр в заветном порядке, чтобы только услышать голос с восхитительным пришепетыванием.

Он знал на память, сколько длится журчание диска на каждую цифру набора (короткий всхлип “единицы”, за ним — перелив подлиннее, после — вовсе длинная трель, потом — два одинаковых двусложных такта, затем звук снова встает на цыпочки, но так и не дотягивается до давешней полноценной музыкальной фразы, соответствовавшей “восьмерке”, и, наконец, снова стаккато “единицы”, кольцующее уникальную цифровую строфу). Он мог различить скулеж Аниного зуммера, возьмись дюжина телефонных аппаратов попискивать хором, как недельный помет в корзине.

Это что! А каких чудес изобретательности и долготерпения достиг он в искусстве выслеживания и ожидания! Делалось так: если Анина тетка отвечала в трубку, что племянницы нет и неизвестно, когда объявится, Криворотов пулей мчался к дому у Поклонной горы и, ворвавшись в один-единственный телефонный автомат с нужным Леве обзором окрестности, повторял звонок.

— Нет, по-прежнему, нет, где-то шляется. Позвоните попозже или с утра, авось застанете, — успокаивала его наивная родственница.

Тетушка напрасно изволила беспокоиться: Лева уже нес вахту, дело было только за временем. Подъезд, изред-

ка впуская и выпуская каких-то безликих статистов, издали зевал Криворотову в лицо, автобусные и троллейбусные остановки виднелись как на ладони, метрах в ста по левую руку. Сидя на корточках и привалясь спиной к дворовой липе, Лева устраивался поудобнее и запасался терпением. Если ожидание затягивалось на два-три часа и Лева приспичивало оставить пост, чтобы помочиться за гаражами, он по возвращении, тихо матеря барахливший автомат и мнительно, точно наемный убийца, переводя взгляд с автобусной остановки на подъезд и обратно, сызнова накручивал телефонный диск, будил маниакальными позывными тетку и убеждался, что беды не случилось и Аня не проскользнула домой в краткие минуты Левиной отлучки. Так он и стоял частенько, рифмуя все со всем, куря без счета, поднимая голову к первой местной звезде, гадая на автомобильных номерах, как на внутренностях жертв, прилежно пытаясь попасть в резонанс судьбе. Но, вопреки Левиной бдительности, сюрпризы ему преподносились нередко. Криворотов знал Анины маршруты досконально, но порой она подходила к дому с неожиданной стороны, ведь Криворотов не мог предусмотреть, что девушка проедет лишнюю остановку за компанию с говорливой интеллигентной старушкой, у которой внучка тоже студентка, только консерватории. Или что с визгом тормозов левак-лихач на ведомственной "Волге" высадит девицу, вдруг обернувшуюся Аней, вплотную к парадному, и Лева запоздало спохватится и бросится ей наперез, когда дверь за гуленой гулко захлопнется и лифт взмоет, а выйти из дому на отчаянный телефонный призыв вдогонку она откажется наотрез, потому что смертельно устала и вообще сыта по горло его истериками.

Она и на оговоренные загодя свидания умудрялась являться, заставляя Криворотова врасплох. И он, сбитый

с толку, нет-нет, а поглядывал в направлении, противоположном разумному (а вдруг?). Так оно всегда и бывало с нею: уже совсем отчаешься, ожидая, когда угадывались в толпе — по обыкновению не оттуда, куда всматривался битый час, — утрированный, как у клоуна, рот, яркие и без грима глаза и блеклые волосы. И как всегда, от этого вида что-то сдвигалось в груди, сбивался фокус зрения, и уготованные слова спешили ретироваться врассыпную, и оставалось улыбочиво переминаясь с ноги на ногу с кашей во рту. Господи помилуй, — выдыхал Лева с облегчением — вот же она, моя ненаглядная!

Но стойкость его, по всей видимости, невысоко ценилась. Нет, бывали и хорошие минуты, когда удавалось урвать поцелуй, или отмахать бульвар-другой, болтая душа в душу, или вставить в праздный треп слово любви и услышать ответ, допускающий желаемое толкование. Но чаще что-то скрежетало, заедало, не совпадало. Иногда — Криворотов это чувствовал почти наверняка — он раздражал Аню до сладострастия. Тогда она злостно нарушала шаткое согласие: была намеренно вульгарна, если он ударялся в сантименты, но, как только Лева, стремясь подыграть ей, делался развязен, Аня морщилась, будто от зубной боли. Особенно доставалось от нее Чиграшову, поскольку тот не сходил у Левы с языка и стал его очевидной слабостью. Стоило Криворотову помянуть человека, занимавшего все его мысли, Аня в молитвенном изнеможении закатывала глаза:

— Уймись, Бога ради! Злишь ты меня, что ли, нарочно?

Спасти положение мог бы уже не язык (“система членораздельных знаков, которые, — как учили в университете, — используются для общения членами данного общества”), а сила трения (“механическое сопротивление,

возникающее в плоскости касаний двух соприкасающихся прижатых друг к другу тел при их относительном перемещении”). Эти цинично-материалистические выкладки с неизбежностью приходили Лева на ум. Но пока приходилось довольствоваться “системой членораздельных знаков”.

Среднеарифметический разговор той весны обреченно соскальзывал на учебу (плевать на нее, если по совести), на общих знакомых (пропади они пропадом), критику режима (здесь Лева знал собеседников и посодержательней), на литературу (Аня, правда, не смыслила в ней ни аза) и, само собою разумеется, — на Виктора Чиграшова. На злополучного автора Криворотов сворачивал с упорством невротика, которому запрещено думать про белую обезьяну.

Двадцати лет от роду, молодой лирик, честолюбец и любовник зрелой женщины, Лев Криворотов умудрился влюбиться дважды в течение одной недели, и оба раза пылко. Во вздорную сверстницу и в поэта средних лет с репутацией живого классика.

Чиграшов отпер дверь и с минуту собирался с мыслями. Лева догадался, что его вспоминают и не могут вспомнить.

Криворотов назвался.

— Конечно-конечно, — сказал Чиграшов и жестом пригласил гостя в глубь квартиры. Криворотов внимательно озирался в большой, запущенной и мучительно знакомой коммуналке. Может быть, иллюзией узнавания Лев был обязан тускло-желтому освещению в коридоре и прихожей, а главное — запаху, памятному с младенчества по бабушкиной коммуналке. Что ли чернобурка пополам с допотопной парфюмерией? И барахло точь-в-точь, как в жилище бабки-покойницы, — сундук под черным

телефонным аппаратом на стене, с крюка свисает медный таз для варенья, гантели выглядывают из-под калошницы. “Вот сейчас, — загадал он, — справа покажется славянский шкаф в углублении стены”. Но ложная память подвела Криворотова, правда, лишь наполовину: емкая ниша, точно, имелась, но загромождал ее поставленный на дыбы взрослый дорожный велосипед под попоной.

— Это мой, — сказал Чиграшов. — Зря место занимает, а свезти на дачу — руки не доходят.

— Такое чувство, — не выдержал Криворотов, — будто я видел все это однажды.

— Называется “дежавю”, очень даже вас понимаю, сам подвержен в высшей мере.

Вошли в комнату, Чиграшов убавил громкость проигрывателя и спросил, не мешает ли музыка. Криворотов попросил хозяина-меломана не беспокоиться и наспех боковым зрением, точно перед экзаменом, подглядел на пустом конверте: “Бах. Партиты”. Так и запомним.

Чиграшов склонил ушастую голову набок, поднял указательный палец и изрек, посмеиваясь:

— Мне все кажется, что мелодия вот-вот станет связным повествованием. Но, слава Богу, не становится, а медлит на границе между голосом и речью. Будто речь родилась на наших глазах и еще не опоганена общим употреблением. Не пошла по рукам. Да? Нет? Вы можете выпить водки без закуски, а то в доме — шаром покати?

Криворотов смешался и согласился. Чиграшов налил ему треть стакана, позвякивая горлышком о венчик.

— А вы? — спросил Криворотов.

— Я воздержусь.

“На весах Иова” — прочел Криворотов поверх граненого стакана по складам — книга лежала на круглом

обеденном столе вверх ногами — и молодецки выдохнул после изрядного глотка спиртного. Развернуть том на себя гость не решился, поскольку сразу распознал эмигрантскую полиграфию и опасался вызвать подозрения хозяина чрезмерным для первого визита любопытством. Чиграшов перехватил Левин взгляд.

— Вы Льва Шестова, тезку вашего, не читали?

— Это Папа Римский, что-то католическое?

— Нет, Лева, не *шест-ого*, а *Шест-ова*. Возьмите почитайте, если хотите, только, чур, никому не давать. А что касается львов и прочих омонимов и омофонов, в Перми в эвакуации произошла довольно драматичная история. А было мне, дай Бог памяти, восемь лет. Недоедали, разумеется, особенно старшие. Матушка-покойница, царствие ей небесное, меняла в окрестных деревнях остатки довоенной роскоши на жратву. Однажды пермяки-соленые уши всучили ей за золотые часики березовую чурку, вымазанную сливочным маслом. Словом, с хлебом имелись затруднения, зато зрелищ — от луза. К примеру, Мариинский театр эвакуировали туда же. И Танька — сестра моя, в миру Татьяна Густавовна, — таскала меня на спектакли чуть ли не каждый вечер, нашла лазейку или из жалости билетерша пускала, не помню уже. До сих пор могу шпарить наизусть и навскидку весь репертуар — “Кто может сравниться с Матильдой моей?” и прочую гиль. В Пермь же каким-то ветром занесло и циркшапито. Французская борьба и все как полагается. И зимой, а уральская зима это не подарок, цирк благополучно запылялся, включая и цирковой зверинец. Вырваться из огня удалось только льву. Он каким-то чудом с опаленными гривой и усами дал деру, и нашли его, бедолагу, спустя два дня в сорока километрах от города замерзшим насмерть. Душераздирающее, по-моему, зрели-

ще: солнце, закамская степь, трескучий мороз, а по глубокому снегу скачками передвигается ополоумевший африканский зверь. Бр-р-р!

— Можно написать что-то вроде “Осеннего крика ястреба”.

— Вы правы. оба сюжета чреватые иносказанием. Но у моего — другой привкус: сплошь несчастье, не скрашенное гордыней.

Криворотов обвел комнату взглядом экскурсанта. Вот где все это писалось. За этим, торцом к окну поставленным письменным столом. И вот что видит пишущий за окном, когда отвлекается, курит или подыскивает рифму. Из года в год — дворовые тополя и клен, песочница под “грибком”, машины на приколе. Понятно.

С притворным равнодушием Криворотов перевел разговор на антологию. Глаза Чиграшова сейчас же сделались несчастными, и он промямлил что-то очень вялое и ободряющее. Сказанного ему показалось недостаточно, и, чтобы доказать свое нешуточное расположение к лирике студийцев и Левиной в особенности, он, перебирая слова и заполняя пустоты татаканьем, привел на память пару Никитиных строф. Криворотов прикусил губу и смолчал, но засобирился вдруг, сославшись на неотложные дела. И горько улыбнулся своему вранью: не было у него и не предвиделось “дел” важнее, чем смотреть на Чиграшова и слушать, как тот бубнит себе под нос что ни попадя, — разве что Аня.

Философскую книжку Криворотов, уходя, сунул в портфель заодно со злосчастной машинописью антологии, правда, не из любви к философии, а в погоне за двумя зайцами: теперь у него был повод прийти к Чиграшову еще раз; а при первом же удобном случае Лева навяжет трактат Ане с тайным умыслом иметь лишний предлог для встречи с нею: свиданиями она его не баловала.

Криворотов зачастил на Чистопрудный, впрочем, с переменным успехом. Уже в другой раз его не пустили дальше порога. Высокая, плохо сохранившаяся плоская женщина со сросшимися на переносье бровями, назвавшись сестрой Чиграшова, строго сказала, что Виктору Матвеевичу нездоровится, и попросила в ближайшую неделю брата не беспокоить.

Чиграшов обращался с Криворотовым так же непосредственно, как Аня: не обнадеживал, но и не лишал надежды вовсе. Он мог одобрительно кивнуть, пробежав глазами новое стихотворение Левы, но из дальнейших разглагольствований мэтра становилось ясно, что судит он писания своего поклонника не по тому же счету, по какому классиков и себя, а со скидкой на знакомство, с поправкой на школярство. После встреч с Чиграшовым, как и после свиданий с Аней, молодого человека бросало то в жар, то в холод: радость чередовалась с обидами в порядке почти шахматном. Криворотову приходилось несладко, но он лишь изредка вздыхал о недавнем прошлом, когда рассмеялся бы в лицо каждому, скажи ему кто-нибудь, что Лев, как шут гороховый, до полного забвения самолюбия будет день-деньской метаться по городу, раскиснув от чувств к двум людям зараз и добиваясь их расположения. Свести вместе оба предмета обожания сделалось навязчивой идеей Криворотова, тем более что Чиграшов трунил над его обильной слезоточивой лирикой, дразнил начинающего поэта “Ленским” и, опередив Леву, изъявил желание устроить его избраннице смотрины. Лева от природы питал слабость к симметрии — он и стулья у себя дома расставлял вокруг круглого стола крест-накрест под прямым углом — и образ равнобедренного треугольника взаимной любви и дружбы был слишком соблазнителен, чтобы не попробовать привести идиллию в исполнение.

Во время долгой и довольно нескладной прогулки по бульварам Лева будто невзначай подвел Аню вплотную к заветному дому с зооморфным орнаментом и затащил ее, упирающуюся, чуть ли не силком в гости к своему кумиру и почти тотчас пожалел о содеянном. Чиграшова как подменили: он вел себя очень принужденно — то двух слов связать не мог, то брался ломать комедию. Лева извелся в эти тягостные полчаса, пуще всего боясь, что Аня как-нибудь надерзит. Так и получилось.

— Ничего не почувствовали? — сразу по их приходе ни с того ни с сего спросил Чиграшов спутницу Криворотова на перекрестке коридора.

— А что я должна была почувствовать? — ответила Аня неприязненно вопросом на вопрос.

— Наш друг Лева утверждает, что ровно на этом месте дает о себе знать загадочный изъянец пространства, аномалия, говоря по-научному. И время ведет себя, как тупая игла на заезженной пластинке, — срывается на повтор, да, Лева, нет?

Криворотов вымученно улыбнулся.

— Значит, ничего? А нас слевой, грешных, — не унимался Чиграшов, — в этом тупичке прямо колотит. Вот и сейчас мне почудилось, что такая же прелестная гостья, вылитая вы, уже переступала порог моей квартиры.

— Всё вы неправильно говорите, — сказала Аня в самой несимпатичной своей манере. — Не так на улицах заигрывают со смазливими дурочками. Надо говорить: “Лицо ваше мне что-то знакомо. В Гаграх не могли с вами отдохнуть году этак в шестьдесят первом?”

— Ну, — промолвил Чиграшов холодно, — в шестьдесят первом году я отдыхал гораздо севернее, а вы, подозреваю, о ту пору еще толком и устать не успели. Проходите в комнату, я чаю сгоношу.

И все в том же духе. Любые чиграшовские поползновения к сближению, спору нет, довольно топорные, встречались Аней в штыки. Вот тебе и симметрия, Криворотов! На улице Лев с худшими предчувствиями спросил Аню о ее впечатлениях. Анин приговор был суров:

— Рисуется много.

А Чиграшов при случае сказал:

— Сурьезная девушка. Но хороша, ничего не скажешь. С червоточиной. Одобряю ваш, Лева, выбор. Во всяком случае, вкусы наши совпадают.

Криворотов польщенно покраснел, с внутренней улыбкой припоминая для полноты картины их с классиком “родство” по Арине, а “червоточину” оставил на совести Чиграшова.

Понемногу и прочие участники антологии через Адамсона познакомились с Чиграшовым, и более того, к Левиному неудовольствию, литературные заговорщики раз-другой злоупотребили чиграшовским рассеянным гостеприимством, проведя шумные сходки под кровом поэта. Во время этих сборищ Лева мучился ревностью в квадрате, всеми силами стараясь оттеснить внимание и Анны, и хозяина дома от вездесущего соперника, Никиты. Остальные — Отто Оттович и Додик — опасности не представляли. Сохранять самообладание, прикидываться не страшщимся конкуренции любимцем Чиграшова и избранником Ани и контролировать ситуацию было тем сложнее, что Лев поминутно ощущал даже спиной неприязнь Ани к Чиграшову и напряженно ждал от нее какой-нибудь ужасной выходки. Собственно, именно Анину вызову, когда девушка в раздражении взяла олимпийца “на слабо”, и обязаны были молодые авторы участием мэтра в антологии.

Но была у Криворотова и еще одна веская причина остерегаться сборищ на Чистых прудах. Отто и Шапиро

непроизвольно, а Никита, по убеждению Льва, намеренно поминали в разговоре Вышневецкую, и кто-то к слову заметил, что ее вкус и хватка пришлись бы как нельзя кстати. Лев похолодел от одной только мысли о возможности подобной очной ставки, и в ушах у него на секунду застрекотало, как перед обмороком. Появление у Чиграшова Арины было бы катастрофой. Живот еще не обозначился под неизменным Ариным балахопом, но мнительному взгляду Криворотова казалось, что в облике его любовницы проступила характерная отрешенность, а в вальяжной походке беременной матроны угадывается новая недвусмысленная грация. О, если бы только это! Ужас состоял в том, что Криворотов продолжал сожительствовать с Арипой — изредка, воровато, с нарочито животной разнузданностью. Он брал ее, как девку, деловито, с открытыми злыми глазами, вымещая на ней (на ней — в буквальном смысле слова) все унижения нынешней весны. Понимала или не понимала нелюбимая женщина изменную подопку Левиной неутомимости, но никогда прежде она не бывала так отзывчива. Каждая встреча на даче уже через несколько минут превращалась в форменную вакханалию: сбитая комом постель, хриплые стенания — Левины плечи после подобных свиданий еще долго хранили следы укусов. Угрызения совести брались за свое с удвоенной силой сразу после семяизвержения, и как Лев ни старался утешиться, выдавая собственное поведение за поэтичный демонизм, утешение получалось слабое. “Какой на фиг демонизм?!” — думал Криворотов, поворотясь к любовнице спиной. Простодушную измену Ане он бы себе простил — быть молодцу не укора, — но присутствовала в этих бурных соитиях и корысть: властвовать, не выпускать Арину из виду, чтобы, брошенная и предоставленная самой себе, она, чего

доброе, с горя не наделала бы делов, не взялась шантажировать Льва, а то и мстить — открывать той, другой, глаза на истинное положение вещей. Хорошо отвлекали от гадких мыслей, обычных в паузах между этими силовыми совокуплениями, расспросы о прошлом Чиграшова. Кое-какой свет на историю его лагерного заключения и на *love story* размягшая от плотских бесчинств Арина пролила, но ее рассказы, как ни крути, были “испорченным телефоном”... И как-то в первых числах мая Криворотову показалось, что он наконец-то выбился в конфиденты гения и вот-вот получит исповедь из первых рук.

Леве повезло: он застал Чиграшова в легком подпитии. Зная, что во хмелю язык развязывается и недолго сболтнуть лишнего, Криворотов осмелился, между прочим, спросить поэта об адресате его любовной лирики. Чиграшов уставился на Лева не мигая и молчал с минуту, за которую Криворотов успел пожалеть, что позволил себе, судя по всему, непростительную фамильярность.

— Извольте, — сказал Чиграшов неожиданно. — Давным-давно, Лева, (вы тогда еще под стол пешком ходили) я был хорош собой и знатен. Ныне, — он обвел жестом экскурсовода комнату, — допускаю, верится с трудом. “Таков и ты, поэт, и для тебя условий нет” — одну, к вашему сведению, из авторских редакций последней строки хрестоматийной строфы считаю совершенно уместным процитировать применительно к моему случаю. Но факт остается фактом. По рождению я принадлежу к военно-дипломатической элите страны. Встречи на самом высоком уровне, ратификация договоров, коктейли — это у меня в крови, не считите за похвалбу. В незапамятные времена сложился из мне подобных и при моем деятельном участии превеселый кружок прожигате-

лей жизни: бретеры, волокиты, игроки. Золотая молодежь, вроде нашего друга Никиты. Хотя он, надо отдать ему должное, исключение из правила и человек скорее положительный. Одним словом, ребята подобрались — ни в Бога, ни в черта — сорвиголовы. Время-плепро-пропле, — расчувствовался, извините, язык заплетается, — время-пре-про-вож-дени-е соответствующее: пикники, безобразия, дуракаваляние. А я, “беспечной веры полн”, пел этим бездельникам все, что в таких случаях петь полагается. Само собою, рано или поздно появилась в нашей компании девушка. Она не просто нравилась — она опьяняла. Чем-то, кстати сказать, похожа была на вашу приятельницу и звали по совпадению так же. Мы сошлись со страстью, присущей двадцатилетним молодым людям, и всякое такое. На нас и смотрели друзья-приятели, как на мужа и жену, хотя мы не унижали чувства регистрацией. Кутежи, однако, не затихали. Однажды целая компания, включая меня и мою избранницу, более-менее талантливых денежных шалопаев и их прихлебателей, двинула в медвежий угол, славный своими ведьмедями, на медвежью же, прошу прощения за тавтологию, охоту с большим количеством спиртного и вооруженные до зубов. Заняли полвагона, пили и орали песни всю ночь, проводница сбилась с ног, урезонивая желторотую знать, и чем свет вывалились на осенний полустанок в четырнадцати часах скорой езды от столицы. Утро, золотая осень, золотая молодежь, воздух, никакого похмелья — молодость, она и в Африке молодость, тем более в русской провинции. А так как в свите нашей был один оччень вельможный сынок, то о планах наших было оповещено районное начальство. Бани топились березовыми дровами, комсомолки подступней да посмазливей сурмили брови. Одна беда: в силу экологических причин или

социалистического способа хозяйствования во вверенных уездным бюрократам охотничьих угодьях союзного значения царила мерзость запустения и, кроме дюжины облезлых зайцев да колченогой лисы, никаких представителей фауны не наблюдалось. Едут пострелять дичи сановные сынки, а тут такой афронт! О ту пору, на счастье, гастролировал в районном центре, городке, назовем его для простоты Мухосранском, захолустный цирк — не верите, что ли, думаете: “Заврался, Чиграшов, повело kota на мыло — снова цирк”? Да, дорогой Лева, снова! Но цирк цирку рознь, я выпью с вашего позволения, не присоединитесь?

— Спасибо, мне через час в университет.

— “Разучилась пить молодежь, а ведь этот еще из лучших!” — как сказано в одной детской книжке. И доживал при означенном цирке свои последние дни в загаженной вольере подслеповатый престарелый мишка. Ему и поручено было сыграть роль хищника, грозы русских лесов. Сказано—сделано. Везут холуи животину на условленную полянку и вываливают бережно из кузова на жухлую сентябрьскую травку, по направлению к которой (к полянке, то бишь, а не к травке), зная не зная и ведать не ведая о хитрой райкомовской режиссуре, бредет толпа столичных нимродов с ружьями наперевес и рогаatinaми наголо. Надо же было случиться, чтобы именно тогда ехал по лесной тропинке прямехонько через означенную лужайку пацан из местных на отцовском дорожном велосипеде. Нарвавшись на зверя, малый свалился с велика и дунул в кусты. А старый циркач-профессионал топтыгин понуро влез на велосипед и стал писать по лужайке круги. В это время, минута в минуту, из зарослей вываливается на ту же прогалину толпа веселых охотников во главе с забудыгой-егерем. Ничего картина? До-

стойна кисти Питера Брейгеля. Но моя красавица, то ли от недосыпа, то ли из-за женской утонченности, глянула на эту потеху, слабо ахнула и — хлоп в обморок. Вне себя от любви и жалости, я склонился над ней, брызгал ей воду в лицо — не помогает. Тогда я разорвал на ней платье, и знаете, *что* предстало моим глазам, когда оголилось прекрасное плечо?

— Кажется, догадываюсь, — сказал Криворотов.

— Ну и слава Богу.

Аня, Чиграшов, Арина; Арина, Аня, Чиграшов; Чиграшов, Аня, Арина — вот по такой замкнутой траектории кружили чувства и мысли Криворотова изо дня в день вплоть до середины мая. И Лева успел свыкнуться с этим истеричным существованием, хотя, слаб человек, разок примерил-таки перед трюмо к правому виску Аринин подарок с пустым барабаном. Так бы Лев и плыл по течению, если бы не новая напасть.

Последние два-три года, а той весной и подавно, Криворотов вспоминал о родителях чаще всего, когда подходила пора очередного денежного вливания. Отец с матерью считали, что сына словно подменили, не одобряли его беспорядочного образа жизни и не могли, как казалось Лева, в силу поколенческой ограниченности войти в сыновние интересы и понятия — и он не оставался в долгу и свысока смотрел на родительское прозябание, хотя и старался от сих до сих быть сносным сыном. Чего уж тут лукавить: он с некоторых пор стеснялся отца с матерью, стыдясь своего стеснения. Памятный с детства неукоснительный обряд воскресных завтраков втроем под воскресную радиопередачу в мажоре; венгерские куры в продуктовом заказе раз в месяц; мещанская чистоплотность матери, понавышивавшей “птичек” в ногах подо-

десяльников; кроткие семейные походы по абонементу на вечера чтеца Дмитрия Журавлева (“Медный всадник” и на бис — “О, Русь моя! Жена моя!..”)... Пыше, в сравнении с артистически-безалаберным бытом Арины, Чиграшова, того же Никиты, трогательный уклад родительского дома представлялся Льву смешным, затхлым и несколько филистерским. И вдруг выяснилось, что у вроде бы конченого человека, смиренного заведующего урологическим отделением районной больницы, у Криворотова-старшего уже четыре года как растёт двойня на стороне — плод страстной любви к молоденькой сотруднице. Случайно подслушав телефонный разговор Василия Криворотова с разлучницей, гостью из Самары, старая дева и студенческая подруга матери, не нашла ничего лучшего, как сообщить о мужней измене законной пятидесятилетней жене, и со всем стародевическим пылом подбила ошарашенную этой новостью женщину гнать негодяя в шею. Если четыре года, предшествующие скандальному разоблачению, Криворотов-отец из привязанности, жалости и малодушия мирился с двойной жизнью, то благодаря ретивой “Самарянке” (семейное прозвище жениной товарки) он получил наконец вольную и с облегчением воспользовался ею. Мать вскоре горько раскалась в разрыве с мужем под подружку диктовку, но дело было сделано, и гордыня не позволила оскорбленной женщине идти на попятную. В считанные дни родительское гнездо оказалось разоренным. Лева внезапно стал единственным мужчиной в доме, опорой враз постаревшей Евгении Аркадьевне, которую чуть ли не из петли пришлось доставать после всего случившегося. Бедность — уже не обаятельная, интеллигентская, а настоящая — подступила вплотную к руинам семейства. Лева сочувствовал матери, осуждал отца, но перво-наперво

был озадачен: Криворотов-сын не мог даже предположить, что человек в столь преклонном возрасте (сорок девять лет!) в принципе способен испытывать какие-нибудь романтические чувства, кроме бытовых привязанностей.

— Куда ни кинь — все наперекосяк, хоть стреляйся, как, помните? — “пиф-паф” — у вас в одном стихотворении.

Делясь своими бедами с Чиграшовым, Лев, разумеется, умолчал об Арининой составляющей в сумме своих невзгод.

— Стреляться — дело хорошее, но я бы рекомендовал вам менее радикальную разновидность исчезновения: скатайтесь-ка вы, Лева, в какую-нибудь даль месяца на два-на три, а я вам в этом постараюсь поспособствовать. Граница наша хоть и на замке, зато длиною с экватор, не Албания, слава тебе Господи, есть на что посмотреть и оставаясь в дозволенных пределах. А потом, говорят, разлука любовь бережет. Глядишь, и сердечные ваши тревобления улягутся. Снова же, денежек подзаработаете: оно никогда не лишнее, особенно теперь, когда у вас дома такой разброд. Давайте решайтесь, я вам худого не посоветую.

Криворотов уцепился за предложение своего покровителя и уже назавтра, после рекомендательного телефонного звонка Чиграшова приятелю его молодости, начальнику Памирского гляциологического отряда, Лева разыскал на окраине Москвы подвал со следами протечки на потолке, которые входящий во вкус скиталец с ходу сравнил с береговой линией на географической карте. Лавируя между завалами из брезентовых вьючных мешков, армейских ящиков и треног от теодолитов, Криворотов столкнулся лоб в лоб с тем самым красавцем лже-Чиграшовым, при ближайшем знакомстве — милейшим

человеком, если б не чудовищные его казарменные ка-ламбуры (“что имею — то и введу”). Без волокиты тот оформил Криворотова разнорабочим в свою экспедицию, отбывающую в Душанбе в последних числах мая. Запрос-то разговорились (все больше о Чиграшове), почти подружились, и мацо, вольнодумец и заядлый охотник, прослышав, что у Левы простаивает без боеприпасов револьвер, отсыпал, добрая душа, горсть мелкокалиберных патронов с уговором: палить только по воронам и только без свидетелей.

Мать в ответ на заявление Льва о скором его отъезде всплакнула, но, судя по тому, что взялась на швейной машинке застрочить по краю сложенную вдвое простыню на вкладыш в спальный мешок, — смирилась с трехмесячной разлукой. Аня пропустила Левину новость мимо ушей, потому что ей не терпелось узнать мнение обожателя о ее обнове к лету — юбке с высоким разрезом. Зато друзья, паясничая, причитали, крестили на дорогу и величали “героем”, а эрудит Никита — и вовсе Лоуренсом Аравийским. Пылкий Адамсон сравнивал то с Лермонтовым, то с Гумилевым и восклицал в сердцах, что уже за-года предвкушает наслаждение от азиатских шедевров Криворотова. (Лев еле удержался от признания, что на днях в один присест и на одном лирическом энтузиазме настроил априори коротенький ориенталистский цикл с паранджой, анашой и пахлавой.)

В атмосфере предканикулярного воодушевления и восхищения Левиным подвигом собрались впятером (Никита обещал быть позже) майским вечером у Чиграшова — выбрать наконец бесповоротно титул для практически готового, уже с участием хозяина, варианта антологии — пустяк, в сущности, но копий из-за такой ерунды было сломано не счесть. Обиходное рабочее назва-

ние “Ордынка” отметили сразу как слишком беззубое, хотя Чиграшову, единственному из присутствующих, оно-то как раз и глянулось. Кто-то предложил “Московское время”, но Шапиро подал голос из своего угла, что это наименование уже занято даровитой пьянью во главе с Сопровским. Аня помалкивала или отпускала реплики не по существу, главным образом колкости в адрес хозяина и холостяцкого убранства его жилища. Особенно от нее доставалось в тот вечер любимцам Чиграшова, бесчисленным кактусам на подоконнике. С удовольствием Лева отметил, что Чиграшову, кажется, по душе Анин тон, да и она задирается больше по привычке; не зря, выходит, старался Криворотов, сводя их поближе. Ох, и хороша же была Аня в майских сумерках, когда жгла от нечего делать спички или отрешенно поглядывала в открытое окно, где шевелилась новая листва тополя, сквозь которую доносился подзабытый за зиму шум города: гудки автомобилей, трамвайный перестук и тому подобное!

— “Лирическая Вандея”! — вдруг изрек торжественный Адамсон и скромно потупился: видно, название очень нравилось ему самому.

На это Чиграшов, занятый вялыми пререканиями с Аней и, по всей видимости, слушавший издательские дебаты вполуха, зашелся тихим смехом, даже прослезился.

— Распотешил, Отто, спасибо, дорогой. Забыл, старый дурень, где живешь? И без того сомнительная затея, по головке могут не погладить, зачем же лишний раз гусей дразнить? Ну сказанул: “Вандея”...

В конце концов вернулись к скромной “Ордынке”, чуть-чуть с привкусом “лито” при заводском Доме культуры.

— Ордынцы и есть, — одобрил Чиграшов, — варвары, разве самую малость эллинизированные.

Ну, с Богом! Каллиграф Додик брался за ближайшую ночь вписать тушью от руки обретенное-таки и узаконенное название на предусмотрительно пустующие титульные листы. А завтра утром предстояло встретиться уже в Адамсоновой студии в неполном составе (Чиграшов служил, Аня в третий раз пересдавала политэкономия), чтобы разобрать авторские экземпляры и решить, как наимыгоднейшим образом с точки зрения общественной огласки пристраивать оставшиеся после четырех закладок экземпляры — десять штук.

К шапочному разбору подоспел и Никита. Но обычного напряжения и ревности, связанных в последнее время с каждым почти появлением друга, умиротворенный скорой разлукой Криворотов не ощутил — напротив: даже соперник показался ему сегодня славным малым.

Каким прожектерством и ребячеством представлялась скептику Криворотову еще полгода назад затея с антологией, а вот, поди ж ты, — получилось, и куда лучше, чем замышляли, — и даже осенено именем первостатейного поэта. Нет, все-таки они молодцы! Особенно застрельщики — Адамсон и Додик. Настроение у собравшихся было приподнятое, молодежи и подавно не хотелось расходиться, не поставив напоследок жирной точки, вернее, восклицательного знака. Правда, Додик засобирався домой, но в дверях пригласил всех желающих к себе ближе к ночи, лишь только сплавит родителей на дачу. Чиграшов, как водится, сослался на срочную надомную работу, но молодые люди уже знали его за неисправимого домоседа, так что никто и не рассчитывал на его участие в продолжении вечера. Аня всегда была “за”. “За” был и Никита. Адамсон тактично ретировался, справедливо полагая, что будет повесам и молодым дарованиям только помехой в их увеселениях. А умиленный Криворотов ре-

шил упрочить свою лермонтовско-гумилевскую репутацию: в кармане у него лежали 60 рублей, полученные утром под расчет в Детском пульмонологическом санатории, где он сторожил последние два месяца через две ночи на третью. Их-то он и решил спустить сегодня же. Знай наших! А мать он поддержит с высокогорных зарботков.

Валяя дурака и наперебой веселя спутницу, дошли бульварами почти до Пушкинской площади и свернули влево в сторону Кремля. Недалеко от Манежной площади знали Лева с Никитой недорогое, но приличное кафе, почти ресторан — не в “стекляшку” же идти с такими бешеными деньгами, гулять так гулять! Все складывалось самым удачным образом: сунули рубль вышибале и проникли без очереди, нашелся и свободный столик. После секундного замешательства новоявленный кутила и джентльмен Криворотов великодушно усадил Никиту рядом с Аней, а сам устроился напротив. Заказали три мяса с грибами в глиняных горшочках, свежие здешней выпечки сдобы, стилизованные под новгородские струги, и для начала две бутылки “Рислинга”. Чокнулись, выпили за славный литературный дебют, набросились на еду.

— Чиграшов, конечно, великий поэт, — сказал Лева с набитым ртом, — но на его баранках и сухариках далеко не уедешь.

— А меня при каждом свидании с ним не оставляет впечатление, что он еще и подпускает аскетизма, вроде Толстого, выходявшего пахать к курьерским поездкам: любой из нас для него как-никак потенциальный мемуарист, — сказал Никита, откидываясь на спинку стула и закуривая.

— Что вы привязались к несчастному язвеннику, — неожиданно вступилась за Чиграшова Аня.

— Тоже верно, — согласился Никита. — А все равно он не так прост, как хочет казаться. Очень даже себе на уме, старый мухомор. Мастер наводит тень на плетень. Тут он мне как-то под большим секретом поведал берущую за живое повесть любви и ареста Эдмона Данте-са, выдавая ее за собственную.

— И ты? — спросил Лева, задержав вилку на полпути ко рту.

— Что я? Принимал, лопух, все за чистую монету, аж пот прошиб, пока, ближе к концу байки, не появился сокамерник-православный поп, в агонии отказавший юному Вите Чиграшову свои несметные богатства. Хотя смешно, ничего не скажешь.

Лева помрачнел. Его покорило и от развязного “старый мухомор” применительно к Чиграшову, и от водевильного сходства их с Никитой шпионских потуг — с щелчком по носу в награду за усердие. Лев почувствовал себя безымянной болванкой на конвейере оболванивания. “Ну и шут с вами со всеми, — подумал он. — Уеду я скоро отсюда за тридевять земель. Еще пожалеете обо мне, да поздно будет”. Почему “будет поздно”, он и сам не знал, но скорбное словосочетание пришлось кстати, потому что Криворотов начал пьянеть и почувствовал теплоту, грусть и жалость — к себе и прочему человечеству.

— Еще две бутылки “Рислинга” нам, пожалуйста, — сказал он слонявшейся поодаль официантке.

Стало весело. Аня незаметно напилась и была обворожительна, когда задирала посетителей за соседними столиками или от нетерпения посетила кабинку мужского туалета (в женском был “засор”), а Криворотова поставила на стрёме в знак “особого расположения” — так и сказала, а потом и вовсе порывалась танцевать на столе.

— Через пятнадцать минут закрываемся, молодые люди, — зевнула официантка.

Лева оставил гусарские чаевые, взял в буфете еще две бутылки на вынос, и вывалились втроем на теплый воздух чуть ли не в обнимку, с пьяной категоричностью решив ехать на ночь глядя к Додиду на Сетунь, а Аню по дороге подбросить до Поклонной горы. Поймали такси. Сидевшего рядом с водителем Криворотова кидало в сон, знакомый до рези в сердце город мелькал и двоился за окном машины и казался еще краше сквозь призму опьянения и скорого расставания. По этому маршруту почти три месяца изо дня в день мотался Лева, — провожая Аню, встречая, преследуя, — и теперь вот ему уезжать. “И Никита тоже хороший, — подумал пьяненький Лева. — Надо с ним и поговорить по-хорошему, и сегодня же, у Додика. Так, мол, и так, давай-ка, дружище, посторонись, будь мужчиной. Не может же вечно продолжаться эта дружба, запущенная, как болезнь, патологическая и смехотворная ходьба втроем — ты, я, Аня”. От хороших мыслей задремывающего Криворотова отвлекло чрезмерное оживление водителя — тот поглядывал в зеркальце на лобовом стекле и одобрительно гримасничал. Криворотов обернулся и обмер. Эти двое на заднем сиденье самозабвенно лизались, и свободная рука Никиты на ощупь брела вниз по пуговицам Аниной блузки, оставляя за собой клин наготы.

Лев хрипло велел таксисту немедленно остановиться, вышел вон и побрел наобум — только дверь, как оплеуха, наотмашь хлопнула за его спиной, и тотчас раздался удаляющийся вниз по проспекту рев мотора. Но уже через мгновение Криворотов ужаснулся, выскочил с призывной жестикующей на середину мостовой, тормознул поливальную машину и, суля водителю золотые

горы, велел мчать вдогонку за едва-едва рдевшими далеко впереди в темноте пустынной улицы габаритными огнями такси. Силы изначально были неравны, а “красный свет”, как назло вспыхнувший перед самым носом преследователей на перекрестке напротив помпезного дома на Кутузовке, сделал погоню бессмысленной.

У Поклонной горы Лев вслепую расплатился с поливальщиком. Вышел, озираясь и лязгая зубами, — никого. Такси-беглеца и след простыл. Криворотов с топотом и одышкой миновал зависший между третьим и четвертым этажами лифт, взбежал на последний, Анин, этаж и принялся с ожесточением давить кнопку дверного звонка. Тишина, прерываемая оглушительными электрическими трелями, уличала дальше некуда. Хладнокровно убить обоих. Лев выбежал во двор и зашел со стороны улицы под Анины окна. Вот они, все как есть — кухонное, теткино, ее. Три безжизненных окна с отблеском темноты. Сейчас впервые Лева обратил внимание на узкий карниз, которым был обведен дом по фасаду — как раз вровень с нужным этажом. Это меняло дело. Задрал голову, Криворотов стал медленно огибать здание, снова свернул во двор и дошел до самого Аниного подъезда, где увидел наконец то, что высматривал, — пожарную лестницу. Вот и славно. Только теперь Лева заметил, что руку ему оттягивает портфель с “Рислингом” — и сунул обузу поглубже в кусты. Зашел под лестницу, подпрыгнул, уцепился руками за нижнюю перекладину и, чиркая по стене подошвами, забросил со второй попытки левую ногу на крепеж. Повисел так, отдышался и рывком уселся верхом на перпендикулярной стене кронштейн. Спустя несколько минут он одолел лестницу, взобрался на крышу, быстро огляделся и зашагал, пригибаясь под проводами, мимо антенн и вентиляционных труб вверх и на-

искось по скату на противоположную сторону кровли, на самый угол, где, по расчетам Криворотова, полагалось быть водосточной трубе. Кровельная жесть громко пружинила под его шагами. Лева правильно рассчитал, но водосточная труба брала начало ниже уровня крыши, так что молодому человеку пришлось перелезть через металлическое ограждение, что есть сил вцепиться в него руками снаружи, лечь животом на край крыши и, свесив ноги, шарить ими по воздуху, пока мысок правой не наткнулся на водосточный раструб. Теперь Криворотов сантиметр за сантиметром сползал с кровельного железа задом на верхнее шаткое колено водостока и, когда центр тяжести Левиного тела переместился на новую опору, молодой человек заставил себя разжать кулаки, выпустил из рук ржавую поперечину ограда — и намертво прилип к трубе, давшей крен под его весом. Оставляя ключья рубахи и штанов на зазубринах цилиндрических сочленений, он полз и полз все ниже и ниже, бормоча “Господи, Господи, Господи”, — и вот ботинки Криворотова нашли карниз, на котором Лев и застыл спиною к головокружительно высокому городу, зажмурясь и стараясь унять дрожь во всех суставах — от запястий до щиколоток. Трепещущими пальцами, как слепец страницу с азбукой Брайля, Криворотов опробовал каждую неровность стены и понемногу — пятки вместе носки врозь — подавался вправо по узкому, вполкирпича, выступу. И раз, и два путь его осложняли жестяные отливы под чужими встречными окнами, и, стиснув пальцами выпуклости оконных петель, Криворотов до тошноты медленно, с какой-то эволюционной неспешностью преодолевал забранные жестью участки карниза, наклоненные туда, куда смотреть запрещалось под страхом смерти. Таким же образом миновал он первое по ходу кухонное окно нуж-

ной ему квартиры, затем окно теткиной комнаты — и, уже вплотную к Аниному оконному проему, подумал с апатией, что, если окно открывается наружу, он погиб. Но окно открывалось вовнутрь — и было открыто вовнутрь. С сердцем в горле Криворотов ступил на подоконник и тихо уселся между цветочными горшками, овеваемый легкой занавеской и бессмысленно улыбаясь в темноту и тишину комнаты.

Головой к окну, по правую руку от сидящего на подоконнике Левы спала в одежде на разостланной кровати Аня. Криворотов тронул ее за плечо.

— Откуда ты? — спросила Аня сонным голосом, хлопая сонными глазами.

— Спи, спи, — сказал Криворотов, нервически смеясь.

Потом он пересел к ней на постель и принялся с маниакальной сосредоточенностью раздевать безучастную девушку. Когда раздевание было завершено и ворох одежды и белья лежал на полу, Аня проснулась окончательно, села на постели и, уткнув подбородок в колени, стала внимательно и молчаливо наблюдать за Криворотовым, который возился и мешкал со шнурками ботинок, а после с брючным ремнем. Руки не слушались Леву, но, в конце концов, разоблачился и он.

— Подожди, — сказала ему Аня и расплакалась. — Можешь ты самую малость подождать? Ты своего сейчас добьешься, но разве дело в *этом*? — продолжала она сквозь плач. — Мне надо полюбить. Лучше, конечно, тебя, — я правда хочу полюбить тебя... А нет, то пусть хоть кого, хоть подонка, лишь бы полюбить. Уходи, пожалуйста, Лева. Пожалуйста.

Криворотов опустил глаза на свое разом поникшее мужество и начал одеваться: трусы, рубашка, носки,

брюки, ботинки — будто киноленту смеха ради пустили вспять. Несколькоми минутами позже ему показалось, что на светящуюся улицу вышла его пустая оболочка, вышла и двинулась по направлению к вокзалу.

Подвал Адамсона. Полдень. Погода “на троечку”: с утра зарядил дождь. Отто Оттович держится именинником и, фальшиво напевая что-то каэспэшное, греет кипятивником в кастрюльке воду на чай. Криворотов и Никита не разговаривают друг с другом, сидят с подчеркнуто независимым видом. Никита читает (или прикидывается, что читает) книжку “From Russia with Love”, Лев пялится в слепое подвальное окно. Поглощенный приятными мыслями Адамсон не замечает натянутого молчания друзей. Ожидается Шапиро с “тиражом”, но Додик, как всегда, запаздывает. У входа в студию раздается визг тормозов и долгий гудок. Отто Оттович с заварочным чайником в руке выглядывает за дверь и, обернувшись, радостно сообщает:

— Додик! На “скорой помощи”, пижон! Тут как тут!

Лев и Никита не трогаются с места. Додик просовывает канальскую рожу в приоткрытую дверь поверх головы Адамсона и орет:

— Эй вы, чего расселись, как графоманы! А писанину вашу таскать Пушкин будет, что ли?

Лев и Никита каждый по своей широкой дуге, чтобы, упаси Бог, не приблизиться один к другому, тянутся к выходу.

Издательские обязанности распределялись следующим образом. Никита через деда обеспечил печать — 16 экземпляров (четыре закладки под копирку) и обложку. На паях участники антологии оплатили дедову машинистку и перешлетные работы. На долю грамотея Додика

выпала корректура. Аниным вкладом в общее дело были ее рисунки — несколько вариаций на тему свечи и гусиного пера в чернильнице, — долженствующие оживить издание и, главное, отделять подборку одного автора от другого. Эти картинки отскерокопировали в нужном количестве через Никитино же деда. Чиграшова, разумеется, не смели беспокоить подготовительными хлопотами, начинающие авторы на него и не дышали. За Криворотовым числилось последующее распространение новорожденного издания среди приличных именитых литераторов, иными словами, — организация успеха, выход из безвестности.

Еще недавно распределение ролей представлялось Криворотову справедливым, но после вчерашнего ему было не до справедливости, и возложенное на него поручение он счел унижительным. Ему было душно от ненависти. Никита встал поперек жизни, и обойти его требовалось любой ценой.

— Почему бы тебе, — с усилием проговорил Криворотов, обращаясь к Никите, с которым они так и не поздоровались, — не помочь нам показать товар лицом? Ты — светский лев, у тебя шарм, связи, тебе и карты в руки.

— Ты что-то путаешь, я не Лев, я — Никита.

— Или ты подразумевал, когда переваливал нанесение официальных визитов на меня, что, услышав твою фамилию (намек на сомнительную репутацию деда), порядочные люди тебя на порог не пустят?

— Нет, я подразумевал твою любовь мельтешить в свите, быть мальчиком “чего изволите?” при знаменитостях.

— Хлюст номенклатурный, я тебе устрою веселую жизнь!

— Слепой сказал: “посмотрим”.

Криворотов задрожал, схватил, не глядя, чью-то чашку и порывисто плеснул в Никиту чаем, остывшим, по счастью, потому что, не долетев до цели, сладкие опивки угодили в испуганную физиономию Отто Оттовича, как раз показавшуюся над столом. Никита оказался метче своего недруга, и с мокрым лицом и грудью под вопли карлика и Шапиро Лев опрокинул стол и стулья и вцепился в ворот Никитино свитера. Сзади беснующегося Криворотова отгаскивал Додик, между петухами встал Отто Оттович.

— Я убью, я пристрелю его, — хрипел Криворотов, пытаюсь вырваться из объятий Шапиро.

— Пан имеет, чем стрелять? — спросил Никита, бледно улыбаясь.

— Пан имеет, чем стрелять.

— Присылайте, раз так, ко мне ваших секундентов, — старательно отчеканил Никита и, кивнув на прощанье Отто Оттовичу и Додику, вышел вон.

Между тем с Адамсоном творилось неладное: он ловил воздух ртом и тер ладошкой грудь. Додик оставил бедагу на попечении Криворотова, а сам побежал по соседним квартирам в поисках лекарства и вскоре принес в горсти две таблетки нитроглицерина. Они возымели действие, но друзья, несмотря на протесты руководителя студии, проводили его до дому, где силой уложили в кровать. А под кроватью с позволения хозяина оставили до лучших времен тираж антологии, взяв себе по авторскому экземпляру. Только теперь, вертя в руке самиздатскую книжку в переплете цвета детской неожиданности, Криворотов хватился портфеля, забытого минувшей ночью в кустах возле Аниного дома. Ну да хрен с ним, с портфелем, — не первый, не последний.

Адамсон, подавленный всем случившимся, не переставал сокрушаться и сетовать:

— Почему талантливые люди упорно не желают уживаться друг с другом, а, Лева? Вы оба такие замечательные, а ссоритесь, как... Толстой с Тургеневым или как те же Блок и Белый. Печально это!

На углу Солянского проезда и Старой площади Лева долго уламывал Шапиро быть его секундантом. Наконец сердитый Додик буркнул что-то, истолкованное Криворотовым в утвердительном смысле. Криворотов предложил стрелять по очереди в леске в пяти минутах ходьбы от Левинской станции, уже на месте бросив жребий, раз револьвер — один на двоих. И лучше бы назначить поединок на понедельник послезавтра: в майские выходные в поселке и его окрестностях слишком людно для намечающегося кровопролития. Додик обещал оповестить Никиту, а напоследок все-таки не удержался:

— Глупость вы затеваете, чтобы не сказать больше. И меня, дурака, втравливаете в эту оперетту. Стоит ли, подумай, мутила? Может, лучше пивка?

Криворотов непреклонно покачал головой.

— Ну-ну, — грустно сказал Шапиро и смешался с толпой на перекрестке.

Криворотов отправился к матери: повидаться на всякий случай, но та, как явствовало из записки, прижатой солонкой к кухонному столу, ушла на “девичник” — ежегодную встречу школьных подруг-одноклассниц. Криворотов живо представил себе это сборище: пять-шесть молодых женщин, раскрасневшихся с двух рюмок сухого вина. Мать крепится до последнего, пробует казаться оживленной и вдруг начинает плакать. Ее спрашивают, утешают, наливают ей воды, а она плачет все горше, сморкаясь и обещая взять себя в руки, и путано, с ненуж-

ными подробностями и перерывами на рыдания рассказывает онемевшим от любопытства подружкам историю мужней измены. Лев вообразил, как мать слюнит уголок носового платка и поправляет потекшие глаза, и поежился от жалости и стыда за ее одиночество. Всю дорогу в электричке Криворотов до боли стискивал в кулаке бородку ключа от дачи, чтобы не развести сырости.

Ближе к вечеру распогодилось. В сумерках Криворотов слонялся по участку, прислушивался к соловью, щелкавшему в бузине у забора, и пробовал считать соловьиные колена, как учил его в детстве отец, но каждый раз сбивался со счета. Потом Лева привлек к лицу ветку сиреневого куста, росшего у калитки, и потянул носом — но не дождался любимого запаха от холодной недоразвитой грозди. При простенькой мысли, что эта сирень расцветет со дня на день, а его, Криворотова, может уже не быть в живых, он ужаснулся даже не сознанием, а желудком, в панике поднялся на крыльцо и запалил свет в комнате и на кухонке. Ужас отступил на шаг-другой, и Лев взялся писать предсмертные записки матери и Ане. С убедительностью галлюцинации Криворотов увидел, как Аня еще только сегодня, — он глянул на ходики: 11.45 — да-да, еще сегодня, сидела нагишом на кровати, и наконец не сумел сдержать слез. Неверными руками закурил, вроде полегчало. Хорошо бы еще и стихотворение оставить по себе, но это — завтра; сейчас ему ничего стоящего не приходило на ум. Он писал, плакал, перечеркивал, писал наново поверх зачеркнутого и так увлекся, что поднял от бумаги голову только на повторное тихое покашливание. В дверях стоял Чиграшов.

— Здравствуйте, сэр. А я к вам с претензией, — сказал он, и Лева загодозрил, что Чиграшов слегка подмухой.

— ?

— Мы с вами друзья, я полагал? Друзья, — утвердительно ответил Чиграшов на свой же вопрос. — Так что я мог рассчитывать на приглашение в секунданты. Или я ошибся?

— Откуда вы узнали? — спросил Криворотов, чувствуя привычный в присутствии Чиграшова прилив обожания.

— Из вечерних газет, рубрика “Светская хроника”, — отшутился гость. — Вы хоть знаете, коллега, что, в соответствии с отечественным литературным канонам, требуется делать в канун поединка? Молчите, не знаете, — вздохнул он с грустью. — Канон неукоснительно и недвусмысленно предписывает нам читать Вальтера Скотта, “Шотландских пуритан”. А где, кстати, ваш хваленый вальтер?

Криворотов уже освоился с нетрезвой каламбурной логикой наставника, поэтому понятливо достал револьвер из-за батареи и протянул его Чиграшову.

— Осторожно, он заряжен, — сказал Лев, увидев, что мэтр с интересом заглядывает в дуло.

— Даже так? Очень предусмотрительно, — сказал Чиграшов и хладнокровно засунул револьвер во внутренний карман куртки. — У меня сохранней будет. Выпить у вас, надо думать, нечего.

— Верните револьвер.

— Верну, разумеется, но вы мне не ответили на вопрос: берете меня в секунданты?

— Спасибо за честь, но сперва верните револьвер.

— Вам спасибо, как говорится. А раз я секундант, то к месту дуэли я его чин-чином и принесу — и сводите счета на здоровье. Слово профессионального счетовода, — он клятвенно прижал руку к сердцу. — Знаете, у

нас в депо какие левши есть? Они, дайте срок, протрезвятся и вашу пушку до ума доведут, в керосине вымочат, ружейным маслом умастят — загляденье будет, пол-Москвы перестреляете, не то что какого-то дурацкого Никиту. Однако душновато у вас... Проводите-ка меня, сударь, до станции, сделайте милость, а то мне что-то нездоровится. В моем состоянии — под немецкую музыку дома сидеть-не высовываться, а я, по вашей милости, такой вояж предпринял.

Дорóгой Чиграшов то молчал, то охал и жаловался на давление, но у закрытой забегаловки рядом с железнодорожным переездом внезапно ожил, переговорил в темноте с какими-то темными личностями и присоединился к стоявшему по его просьбе поодаль Криворотову, неся в руке замаскированную газетой бутылку.

— Она, проклятая, — весело сказал Чиграшов.

Тут и электричка на Москву подошла.

Криворотов, конечно же, задним умом понимал, что дело нечисто, и вряд ли человек, годящийся ему в отцы, будь он хоть трижды великим поэтом и законченным алкоголиком, вот так, запросто станет набиваться в сообщники молодежного смертоубийства. Но за последние сутки — там, на карнизе Аниного дома, и недавно в саду, где Лев перепугался, что жиденский кустик и впрямь чего доброго переживет его, — Криворотов натерпелся такого страха, что рад был любому вмешательству извне, лишь бы кто-то присвоил его волю, заморочил голову и правдами и неправдами отвел от края. А тем более когда этим кем-то оказался Чиграшов с его магнетическим обаянием и безоговорочной властью над Криворотовым.

Вследствие внезапного ночного визита Чиграшова на Левину дачу поединок, как и следовало ожидать, обер-

нулся фарсом. В гробовом молчании оба недруга и Додик целый час прождали второго секунданта. Даже неутомный Шапиро сидел, точно язык проглотил, лишь изредка озирался исподлобья. Наконец он сдавленно издал ответственный возглас и взмахнул рукой. От пристанционной рощицы к молодым людям приближался Чиграшов. Судя по нетвердой поступи, классик едва вязал лыко. Подойдя вплотную к дуэлянтам, мэтр проговорил подчеркнуто вятно и с запойной медлительностью:

— Мое почтение. Господа, повинную голову меч не сечет. Грешен, простите старого раззяву — потерял лепажи. Пьян был и потерял. Увы мне, горе-оруженосцу! Но стиль, прошу заметить, выдержан, юные мои друзья и бретеры! Жанровые показатели мало сказать выполнены — перевыполнены на все сто. Искренние поздравления! И вы, Лева, считайте, что вас, как зачинищика поединка, разжаловали в экспедиционные рабочие и сослали до осени к ядрене фене, к немирным хлопкоробам и чабанам! Честь имею!

Чиграшов козырнул, попробовал молодецки развернуться “кругом”, чудом не упал и, высоко задирая ноги, что, видимо, должно было изображать строевой шаг, прошеествовал, сопровождаемый растерянными взглядами молодых людей, в обратном направлении — и вскоре скрылся в березняке.



Точно в анекдоте с бородой: “вы будете смеяться, но тетя Роза тоже умерла”. А мне и известно-то стало чисто случайно — неделю назад. Значит, три месяца без малого я подробно жил себе, жил, жил, а той, кого я пожизненно имел в виду, уже не существовало в природе. И все эти восемьдесят три дня я жил в пустоту, ибо целая вереница лет была привычно развернута в сторону Ани — учитывала ее заочное присутствие. Ведь когда, поворотясь спиной к кому-нибудь, занят своим одиноким делом — мытьем посуды, поисками книги или сборами — делаешь его все-таки несколько иначе, чем в полном одиночестве. И вдруг оглядываешься, почувяв неладное, и обнаруживаешь, что этого кого-то и след простыл, и ты и впрямь один-одинешенек в комнате, абсолютно. И что теперь? Двадцать девять лет литературные мои поползновения, “глухая слава” метили перво-наперво в Аню, как напоминание и томная укоризна отверженного. Каково свыкнуться с мыслью, что Анина живая тень больше не стоит рядом — стоит мертвая!

А я и лица толком не упомню, зря стараюсь навести память на резкость. Но воображение прокручивается

вхолостую, точно сорвана резьба, и лишь самый невыигрышный Анин облик и удается вызволить на мое поминальное обозрение — с насморочным носом и лихорадочной на губе.

Сохранилась единственная фотография с Аней, групповая: несколько черно-белых студийцев, закрытие очередного сезона, как оказалось, последнего. Меня — чем не предвидение? — нет вовсе, я на Памире. Слева направо: Иванов-Петров-Сидоров, кто-то из этих, смотрит старательно, будто из раскрытого настежь паспорта; дальше — борец с режимом Вадим Ясень, разумеется, с похмелья, но, по обыкновению, позирует; Аня — третья слева, едва видна вполоборота из-за плеча мудака-тираноборца; следующий — скорчил рожу Додик Шапиро, попутно наставляет “рожки” соседу-старшекласснику. Рядом, школьнику по пояс, торжественный Отто Оттович, тоже покойник уже лет пятнадцать (заколот насмерть — дура-медсестра дозировала лекарство, руководствуясь возрастом в истории болезни, а не детским весом пациента). А вот и Никита, еще не вдовец, еще даже не жених... Остальных запаятовал напрочь. Оглянись, Анечка, обернись, черт возьми, моя ненаглядная!

Рутинная “встреча с читателями” шла своим чередом. Я нехотя, с больной головой после вчерашней “афинской ночи”, отбарабанил собственные стихи и уже собирался, переждав антракт, рассказать почтенной публике, как котенок когтил многострадальную грудь Чиграшова, — душещипательную историю, подозрительно смахивающую на легенду о спартанском мальчике с лисенком под плащом, — когда, надписывая усатой, в два обхвата толщиной почитательнице свою книжонку, расслышал краем уха ее одышливые причитания, смысл которых, однозначный, как дважды два, дошел

до меня с опозданием лесного “ау”: “меня вы, конечно же, не помните: я соученица вашего бедного друга, Никиты”, “какой ужас, передайте ему при случае мои искренние соболезнования”, “такая молодая, двое детей, он души в Анечке не чаял”, “сторела в считанные недели, онкология”...

Так я узнал о смерти Ани. “Из равнодушных уст я слышал смерти весть...”, но внимал ей не равнодушно, нет. Я ушел, как сомнамбула, и публика, охочая до жизни замечательных людей, не услышала на этот раз моих побасенок.

Стало бытъ, умерла. Пренебрегла мною при жизни, умерла сама по себе — какое бешенство, тоска, пустота. И место мое, как издавна повелось, — на галерке в лучшем случае, не ближе. И горю моему, как некогда и любви, отказано во взаимности, во вдовстве. Я сбоку припека, меня почти нет. Десятилетия Аниной жизни преспокойно обошлись без Криворотова Льва Васильевича. Не я досадовал на ее забывчивость в пору беременности, не я становился жертвой Аниной раздражительности в капун месячных, не я язвил по поводу ее умения, оставив сковородку на огне, сплетничать с подругой по телефону, не я стягивал ей полотенцем голову покрепче, когда Аня готова была лезть на стену от мигрени, не я лаялся с ней вплоть до взаимных оскорблений, не я брался за поденщину, чтобы заработать Ане на металлокерамику, не я восклицал ей поверх охапки роз: “сорок пять — баба ягодка опять”. В хорошую минуту не мне клала она руки на плечи — ноги и подавно. Целлюлозно-бумажные комбинаты страны могут не поспеть за моими запросами, возьмися я скрупулезно на письме перечислять, чего мы с Аней *не* — Цветаеву заткну за пояс. Мы *не* осуществили с ней головокружительного тройного обмена, в результате которого перебрались из хрущевской пятиэтажки в нынешнюю трехкомнатную квартиру с “улучшенной планировкой” — такое везение случается раз в тысячу лет, но

одному из участников цепи (форменному сумасшедшему) позарез нужно было именно Одинцово — и все выгорело! Мы *не* ездили с ней в Карелию по грибы, откуда пришлось спешно бежать на перекладных, потому что у меня началась почечная колика. Я *не* фотографировал ее у каменных львов на крыльце Британского музея и на фоне Пизанской башни, когда соотечественники стали выездными. Она *не* выносила за мной судна в insultной палате. Я *не* изменял ей по-командировочному наспех с кем попало, чтобы потом вожделеть к ней с удвоенной виною силой... Все вышеизложенное в придачу к астрономическому числу деяний, опущенных за их бесконечностью, происходило у меня с другими женщинами, а у других женщин со мной. Но, даже зажмуриваясь на подступах к оргазму с кем угодно, только не с ней, я адресовал финальные спазмы в большей мере Ане, чем своим партнерам. Свернув шею, я следил до рези в глазах за Аниной удаляющейся жизнью, как угрюмый подросток на глухом провинциальном разезде за отгрохотавшим мимо скорым поездом. Когда растет убеждение, что ты опоздал, разминулся, ошибся жизнью, но слезами горю не поможешь, и остается курить в кулак на жестком ветру и злобно сплевывать сквозь зубы себе под ноги, где и без того уже целая россыпь плевков и подсолнечной лузги.

От любви нашей не осталось и пятнышка на простыне. Ни-че-го ровным счетом. Разве что привкус поцелуя, тень стародавнего осязания, запечатленную краями губ, умеет подновлять моя вышколенная память. Вещественные доказательства? Затрудняюсь предъявить. Если только кресла под номерами 18 и 19 в девятом ряду Большого зала консерватории, сидя на которых мы как-то слушали “Оркестровые сюиты” Баха (совет Чиграшова). На плюшевые эти сидалища смотрю я в смятении всякий раз, когда нелегкая заносит меня с семейством

поддержать на должной высоте культурный уровень, пока в них не плюхнется жопа очередного меломана.

До барочной ли музыки было мне, скосившему глаза на Анины блистающие колени, пока рукоплескания не спугнули порочной (мели, Емеля) грезы?! А после, под реденьким весенним снегопадом — долгая дорога домой, заполненная пустейшим разговором по касательной к вожделению. Принудительное лобзание у подъезда? Не помню, врать не стану.

Оплошал, Криворотов, ай-ай-ай! Положил, просто-филя, на свое кресло программку, дескать, занято, и вышел, приосанившись, из зала. И какой-то хват, пока ты курил, или отрясал последние капли над писсуаром, или давился в буфете за ситро и бутербродом с заветренной колбасой, смахнул твою программку прочь и занял чужое место, пожав по-хозяйски твоей спутнице руку выше локтя, что, мол, он здесь и беспокоиться не о чем. И ныне, и присно, и во веки веков: музыка играет не для меня, не для меня была отпечатана программка, и не мне брать соседку слева тепленькой, разомлевшей от трехминутного полонезика из второй оркестровой сюиты. Обошлись без сопливых. “Лева дал такого маху, что не снилось даже Баху”, — мог бы сморозить по этому поводу Вадик Ясень, не упади он двадцать лет назад “среди шумного бала” мордой в винегрет с разрывом сердца.

Не в коня корм, маэстро Чиграшов, нос у меня, знать, не дорос от звуков Ивана Севастьяныча вибрировать. Вы — иная статья, классик какой-никакой, вам сам Бог велел. Но ведь у нас с вами и без барокко дел хватает, так ведь?

Татьяна Густавовна совсем плоха и бедна, как церковная мышь, и подумывает о продаже братних бумаг в ЦГАЛИ.

Передала она мне с полгода назад на экспертизу одну толстую тетрадь, сетуя, что сама в ней ничего разобрать толком не может, — совсем я, говорит, как та мартышка, “слаба глазами стала”. Но у чиграшовской сестрицы закралось подозрение, будто тетрадь содержит наброски романа. Руки у “Левушки” (так она величает меня), понятное дело, задрожали, но старушка, увы, заблуждалась. Речь о пресловутой “китайской тетради”.

Беспорядочные записи этого, с позволения сказать, дневника сделаны покойным в последние месяцы жизни, уже при мне. Дневника в строгом смысле слова Чиграшов не вел. А так — царапал, левша, как курица лапой, иногда с промежутками в несколько недель всякую всячину — что Бог на душу положит. Скажем: “Неужто электрическая сила отрицательной частицы должна пройти сквозь всю эту цепь глаголов и отозваться в существительном?” Звук! Фраза замечательно лязгает железом — ясно слышится передернутая цепь!” Или: “Гавриилиада” кончается шутовской мольбой о ниспослании в будущем безмятежной участи рогносца. Наверху приняли к сведению”. Из той же оперы: “Маяковский хвастал, что не дочитал “Анну Каренину” и так и не узнал, чем у Карениных дело кончилось. Самоубийством, чем же еще”. Коллекционирование зловещих писательских обмолвок было пунктиком Чиграшова. Однажды с недобрым оживлением поделившись со мною последними поступлениями, он сконфуженно заметил:

— Легко быть прозорливцем за чужой счет. А чертеж собственной жизни проступит во всей красе лишь тогда, когда тот единственный, кого это всерьез касается, оценить работу чертежника будет уже не в состоянии.

А следом за этими и им подобными наблюдениями литературно-метафизического свойства сплошь и рядом

наталкиваешься в “китайской тетради” на чистой воды китайскую же грамоту, вроде “начисления амортизационных отчислений” и арифметических выкладок, имеющих отношение уже ко второй, бухгалтерской профессии классика, а не к бухгалтерии судебных.

Строкою ниже — рецепт водочной настойки на золотом корне; тут же, бок о бок — приемные часы жэка в Малом Комсомольском переулке, а снизу наползает вкривь и вкось вообще латынь: “*Cereus peruvianus monstrosus!*” Я был бы не я, не наведи я справок у специалиста. Нет, это не авторское кредо и не девиз с фамильного герба — научное наименование разновидности кактуса, всего лишь. Восклицательный знак поставлен, полагаю, от воодушевления и нетерпения: Чиграшову, видимо, страсть как хотелось редким монстром обзавестись. И снова расписание, на сей раз — пригородных поездов. И в том же духе — подавляющее большинство сумбурных заметок и памяток из “китайской тетради”.

Подслеповатую Татьяну Густавовну ввело в заблуждение действительно выведенное рукой Чиграшова и троекратно подчеркнутое — “Роман или повесть” где-то в последней трети ежедневника. А под широковещательным заявлением — отеческое напутствие собственному творческому порыву: “Выдумать себе какую-нибудь компанию людей, круг, чтобы была забота, — и уже распорядиться ими по-свойски...” И далее: “Соблюсти, пусть не точную симметрию частей, но подвижное живое равновесие, взаимное отражение перегнутой пополам жизни. Сродни четверостишию с рифмовкой *абба* (или имени Анна)”. Но окрыленный “романист” все не может успокоиться и посылает вдогонку замыслу новое сравнение-наказ: “Завести волчок, чтобы жужжал еще какое-то время, после того как кончится мой завод, — превзойти самого себя”.

Но порыв остался порывом — никаких иных примет художественной прозы тетрадь не содержит. Уже на следующей странице, залитой какой-то дрянью, — вот тебе и *Ordnung muss sein* — с трудом можно разобрать: “Среда у Отто” и рядом — почтовый адрес студии и как пройти, а ниже в столбик — пронумерованный перечень стихов, означающий, видно, очередность исполнения. Как не помнить: программа достопамятного вечера. Так и вижу себя в первом ряду, розового от возбуждения, с комом в горле, сраженного классиком в самое сердце. А не ошибись я тогда, не прими непризнанного гения походя за мелкую студийную сошку? Окажись Чиграшовым и вправду не Чиграшов, а самоуверенный красавец гляциолог, собеседник Арины, на которого я сперва подумал? Не было бы чувства вины перед уродцем в перекошенном пиджаке за свое близорукое высокомерие — не появилось бы и потребности в воздаянии с лихвой, экзальтации, взгляде снизу вверх, вовлечении в дело обожания каждого встречного-поперечного, но прежде всего Ани. Напротив. Был бы я начеку и любой ценой уберег бы занубу от чар поэта, красавца, записного сердцеда — стихи стихами, а табачок врозь. Если бы да кабы...

Листаем дальше. Дальше — больше. Такое, к примеру, “смирненное” признание: “Чувство вины за талант, как за всякое вообще лотерейное везение и дармовщину — хочется оправдываться. Спросить бы принца Уэльского, как у него обстоит с этим делом. А тут еще добровольный паж на мою голову, влюбленный на два фронта мальчик хороших средних способностей...” — кто бы это мог быть, а?

Но юродство моего подопечного не исчерпывается вышеприведенными разглагольствованиями; Чиграшов входит во вкус самобичевания (данные записи, судя по

некоторым признакам, можно датировать концом апреля-началом мая): “Попытка сдвинуть душу с мертвой точки за чужой счет, снять жизнь с мели, повторно войти в одну и ту же “лирику” — бр-р-р, чур меня!”.

Не мог же он, законченный автор, исподволь не подгонять своих дневниковых излияний под постороннее прочтение, не вылетать их, пусть ненароком, в ткань полного собрания сочинений! Да вот незадача: сестрица, слепая курица, передает тетрадку именно мне, прямехонько. Но даже если бутылку с письмом и прибило бы, в конце концов, к берегу, никому в целом свете, кроме меня, не понять в полной мере туманной весточки от классика. Но стеклотара угодила в надежные руки, а я, единственный посвященный, миндальничать с покойным корреспондентом не намерен. Ваш покорный слуга не видит особого преступления против профессиональной этики в том, чтобы — как бы это поделикатней выразиться?.. Семь раз отмерю, а после — возьму и... с глаз долой. Почему бы, например (богатая мысль!), задним числом не присовокупить “китайскую тетрадь” к содержанию последнего, потерянного ровно неделю назад паганелем-Криворотовым, портфеля, чем не алиби?

Следующие несколько страниц отданы под записи сутобо бытового характера, а вот снова — хроника тех дней: “Вчера ураган телефонных звонков, один другого хлеще. Сперва — Левина мать: “Вы погрязли в пучине разврата, но не отдам я вам честь дочери моей...” и т. д. — словом, что-то из репертуара “Мариинки” времен пермской эвакуации”. (Бедная моя мама.) “А после, почти минута в минуту, — заполющенный звонок: тот самый миляга-авангардист с совершенно анекдотической фамилией, чуть ли не Рабинович. Просил образумить бретеров, присовокупив напоследок, что Отто слег. Пота-

щился с лекарствами к Отто. Взял у него заодно экземпляр “рукоделья”. Дома полистал, расчувствовался, хотя есть печатки, выпил немножко — какое там немножко! Чует мое сердце: быть запою, осложненному хлопотами с площадкой молодняка. Делать нечего — еду на ночь глядя к Лева, миротворец я хренов; смех и грех. Не Рабинович он никакой — Шапиро”.

Так что, досточтимая Татьяна Густавовна, сенсации не случилось: прозы в “китайской тетради” нет как нет — одни благие намерения. Художественная ценность данных каракулей сомнительна, но от кое-каких почеркушек Чиграшова меня бьет озноб уже не литературоведческого свойства, и иммунитет, хоть убей, не вырабатывается. Время лечит плохо, не многим лучше Адамсоновой медсестры. Налицо передозировка. Нижеследующие пассажи окрещены мною попросту — “Крот и Дюймовочка”.

Скажем, такая запись (на глаз — июнь—июль): “Прелесь — этим все сказано. Совершенно неприличный, особенно после вчерашнего, большой, как наклеенный, бледно-розовый рот, заставляющий вздрагивать мои поджилки, подростковые резцы-лопаты прихватывают нижнюю губу, придавая физиономии восхитительное глумливо-ребячье выражение, яркие глаза — кажется, что их больше, чем надо, как на кубистском полотне. А телодвижения... До сердечных перебоев меня тревожит эта травоядная грация: подмывает защитить или обидеть. И в этих-то устах — солдатское словцо “кончать”!”. И отступив две строки, видимо, охолонув и все взвесив, выпрыснул абсолютно в своей манере малость дегтя: “А. — вылитая тезка, очаровательный утенок, обещающий вырасти в пошлейшую гусыню, но слаще женщины у меня не было”.

Но даже ему, стилисту-сладоэстрастику, словесный портрет удался не вполне. Разгадкой Аниного облика бы-

ла живость, стоп-кадр здесь бессилён. Нечастая в пору моей молодости, ныне подобная внешность стала вполне распространённой, даже тривиальной и, более того, модной. Кормежка, что ли, улучшилась? И теперь каждый мордovorот, достигший годового заработка в 25 000 зелёных, первым делом обзаводится такой вот длинноногой белобрысой киской, одновременно с “Ауди” б/у (пробег не более 100 000 км по европейским дорогам) и бультерьером. Поэтому по два-три раза в неделю сердце мое екает на всю улицу, и я сворачиваю плешивую голову на 180°. Обознатушки, отбой. Или это у меня предклимактерическое? И тоска моя всякий раз забывает, что давным-давно нет и в помине девушки-стригунка, а есть корпулентная матрона, мать семейства. Теперь вот и её нет. На удочку уличного сходства попался я в минувшую пятницу и не жалею, но — оставлю это приключение себе “на сладкое”.

Не плеснуть ли из ковшика на каменку, не поддать ли жару? Не сыпануть ли лишнюю щепоть соли на старинные раны? Вот несколько страниц, мигом превращающие текстолога со стажем и ведущего специалиста по Чиграшову в вуайериста, прикившего с отвисшей от недужного внимания челюстью к замочной скважине — своеобразное “peer-show”.

“Вчера А. как прорвало, сидя напротив меня в чем мать родила, покуривая и прихлебывая остывший чай, — исповедовалась битый час.

Небольшой шахтерский городишко. Помянутая мать — мать-одиночка: смолоду — вылитая Любовь Орлова, бывшая провинциальная актриса с возгласами и жестикующей, энтузиастка-сталинистка, выпивоха, понятно, с нетрезвой слезой вспоминающая гастролы фронтовых бригад. Любила завить горе веревочкой, тряхнуть

старинной и гульнуть так гульнуть с театральной братией какой-нибудь проезжей белореченской или гомельской труппы: “Федька, солнце мое, совсем ты стал лысый! Наливай, дуся, неспетая ты моя песня!””. Под застольный галдеж А. коротала детство.

В считанные годы хранительница семейного очага проделала стремительный — сообразно темпераменту — путь от библиотекаря до буфетчицы на станции. Жили они помаленьку в одной комнате в доме барачного типа от одного материнского загула до другого.

Раз в два-три месяца вырастал в дверях очередной друг юности, jovиальный работник кулис. Пили, пели, вспоминали; было интересно, но досаждало, что мать быстро пьянеет и забивает хмельным словоизвержением обаятельного балагура-собеседника. Гостю стелили на полу; спустя полчаса мать вставала и при пламени спички проверяла, спит ли дочь, — и это было особое искусство: не выдать себя смаргиваньем. Удостоверившись, что всё тишь да гладь, мать ложилась к гостю, и начиналось *это*. Но А. пугали не столько возня и постановывание справа от ее раскладушки, сколько завтрашний спектакль, потому что наступал день, и двое взрослых и девочка-подросток как ни в чем не бывало продолжали играть в мать, дочь и друга-постояльца.

А. было четырнадцать лет, когда друг-постоялец, клоун гастролировавшей в городке цирковой труппы — дядя Коля чем свет сделал отроковицу женщиной. Накануне с вечера все разыгрывалось, как по нотам: сперва застолье — веселое поначалу, бессвязное к концу, — потом проверка спичкой, потом *это*. Но *это* длилось так долго и с таким шумом, что уснула А. только под утро, а когда проснулась, мать уже ушла на службу, а дядя Коля сидел, покрывшись простыней и свесив ноги с материнской кроватки.

ти, и как-то заново разглядывал проснувшуюся. Разглядывал-разглядывал, а после откинул с чресел простыню и показал А. свое хозяйство. Парализованная страхом и любопытством, девочка почти не сопротивлялась, сильной боли не испытала и зла на растлителя не держала”.

Эврика. Вот, собственно, с какого потолка взялись в Анином рифмоплетстве цирковые коннотации. Но продолжение следует. Для потомков припасена еще одна фривольная новелла в ренессансном ключе.

“Уже в Москве, где А. последние два года живет в теткиной квартире и через пень-колоду учится всякой гуманитарной премудрости, она, беспутное создание, сошлась с пятидесятилетним гинекологом Гальпериным. Он, умелец, и натаскал провинциалку-дилетантку по части любовной акробатики, прилежно освоил в этом девятивратном граде кое-какие ходы и выходы, привадил к французской любви. А. долго пребывала в убеждении, что это они первые в целом свете такое удумали, и радовалась связывающей их срамной тайне.

Раз Анины знакомые, собираясь в отъезд, попросили ее пожить у них с неделю: поливать цветы, кормить кота. Аня переехала и как-то под вечер ждала Гальперина и от нетерпения напробовалась коньяку из хозяйского бара. Непривычная пить в одиночку, пьяненькая девушка и ко-ту поднесла валерьянки в блюдце. Кота забрало, он взмыл на стеллажи, содержимое полок посыпалось на пол. Аня ставила книги на место, когда под руку ей подвернулось тематическое изданище, богато иллюстрированный журнал, где среди прочих групповых и парных хитросплетений тел нашлось место и для ее с Гальпериным любовной причуды. Потрясение Ани было так велико, что она не отперла дверь на требовательные звонки старого греховодника. Вскоре, впрочем, гинеколог и вообще сошел на нет”.

Таков в общих чертах оказавшийся в моем распоряжении “Журнал Печорина”, он же “китайская тетрадь”. И что прикажете, взять и хладнокровно предложить эти записки натуралиста вниманию литературоведов в перхоти, борзых аспирантов и прочей исследовательской швали? Дудки.

К моим нынешним занятиям, я имею в виду том для “Библиотеки поэта”, находка Татьяны Густавовны отношения не имеет. Новыми стихами, как и предполагалось, Чиграшов за последние годы жизни нас не порадовал. Есть, правда, ближе к концу тетради один стихотворный набросок, но уже поздно огород городить и перелопачивать рукопись, когда книга сверстана и вот-вот уйдет в типографию. Да и не шедевр эти одиннадцать местами совершенно нечитабельных строчек, хотя распознать льва по когтям удастся, если сощуриться. Или собаку на сене. Войти второй раз в реку молодости Чиграшову не удалось. Или так: войти-то он, может, и вошел, но и лирический порох подмочил, даже если он у маэстро и оставался, в чем я лично сомневаюсь. Вот эти строки:

То же имя. И месяц тому неспроста
 Мне воочью светила её нагота
 В темноте с темнотою внизу живота —
 И в окне зацвела темнота.
 Будь что будет, вернее, была не была —
 Выцветай, как под утро фонарь на столбе,
 Доцветай, как сирень на столе доцветала...
 И сиреневый сор я смахнул со стола,
 Чтобы <нрзб> или <нрзб> —
 Чтобы жизнь, наконец-то, была да сплыла
 И уже над душой не стояла.

Если мои воспаленные вычисления верны, то до всего вышезарифмованного у них дело дошло где-то в конце июня, так что сирень приплетена для пущей красоты. Касательно же фабулы наброска, вернее, биографической подоплеку импульса к стихосложению, могу поделиться кое-каким личным опытом, не таким, правда, радужным и не в столбик, а в строчку. Был допущен в качестве “пробника” (Даль) или “губернатора”, как это же ампула называется у Шкловского.

Вы влезаете спяну в заветное окно на шестом этаже (зачин малость отзывает нафталином: “Вы стоите на тяге. Чу!..”) и оказываетесь один на один, Меджнуп вы этакий, с предметом страсти и вожделения, благо дуэньятетка по счастливой случайности что-то там окучивает на шести сотках по Павелецкой дороге. (Вот бы хоть одним глазком подсмотреть сквозь замочную скважину врат из преисподней, как сложилась бы поскюсторонняя жизнь всех остальных, оступись вы на узкой жести карниза и рухни с едва озаренного майским рассветом окна, словно истошно орущая гардина?) Но вы с честью поборолли страх высоты и прочие фобии и стали участником мало-вразумительной эротической сцены. С тем чтобы минут двадцать спустя напрямиком направиться на выход, раз и навсегда. Потому что на излете предварительного трепета и лепета вам говорят русским, кажется, языком, что им-де без любви неможется — и всякое такое. А вы после этих слов и сами уже ничего не можете и забавно, и нескончаемо долго приплясываете на одной ноге, вдевая другую в штанину. И напоследок отверженный оборачивается в дверях (теперь смотри во все глаза!), чтобы запечатлеть горе-горькое на веки-вечные. Что он видит в данный момент, что заучивает наизусть, про запас — на будущее, ближайшее и отдаленное? Бледнеющую утрен-

нюю темноту, смутное постельное белье и — светло-белое на смутно-белом — неправдоподобную наготу. Что еще? Темноты “внизу живота”, по счастливому выражению нашего поэта, как раз и не видно, потому что натуращица памяти позирует, сидя нога на ногу. А видит он едва брезжащее лицо в обрамлении стрижки каре и пунцовый уголек сигареты, пожалуй, это основное. В полуоткрытое окно доносится неразборчивый за дальностью брех диспетчера с расположенной по соседству сортировочной станции ж/д. За окном тихо шумит первый троллейбус, и тень его “усов” пересекает озаренный *выцветающими* (что верно — то верно!) уличными фонарями потолок комнаты, покидаемой навсегда.

Но и это еще не конц. Он уже не за горами, нет, именно что за горами. Прежде чем ты будешь вспоминать эту мизансцену из года в год в мельчайших подробностях, ждет тебя трехмесячная памирская репетиция пожизненной среднерусской разлуки. В первых числах сентября, на обратном пути, в поезде Душанбе—Москва ты не находишь себе места от избытка чувств и крепко-накрепко решаешь сразу же по приезде валиться в ноги, рассказать об Арине, просить руки, брать измором, бить на жалость. Кажешься себе “рыцарем бедным” (разовое утешение с разбитной экспедиционной поварихой не в счет).

Смолоду всегда так: стоит отлучиться — лавина событий. И тот приезд действительно превзошел самые завиральные мои ожидания — и в хорошем, и в плохом. Жизнь, вроде бы, дала послабление: Арина, которую я думал найти с внушительным пузом, исчезла в принципе — еще в июне получив разрешение/повеление вымататься в недельный срок. Судьбоносное объяснение с Аней пришлось отложить — она до понедельника про-

хлаждалась на теткиной даче. Чиграшов был, видимо, в зените запы и, аки цербер, на пороге дома с зооморфным орнаментом выросла Татьяна, мать ее, Густавовна. Так что мой “восточный диван”, написанный еще в Москве, впрок, не по чину первыми прочли и с пьяной щедростью превознесли до небес Отто Оттович с Доди-ком. Но вот и заветный понедельник...

Чем свет ты лихорадочно накручиваешь диск. Длинные, длинные, длинные гудки — и наконец-то голос с пришепетыванием. Ты сравниваешь себя почему-то с деревом в дыму и заклинаешь всем святым дать тебе свидание. Говоришь, что теперь все у вас пойдет по-другому, и ты знаешь, как по-другому.

В ответ — молчание с признаками жизни.

Ты переходишь на визг, что-де любишь ее больше отца-матери, больше *Чиграшова* (курсив мой), больше жизни, если на то пошло...

— Попробую, но не обещаю, — слышится после паузы.

— Сегодня?

— Исключено.

— Завтра?

— Нет.

— Среда?

— Нет.

— Четверг?

— Тоже отпадает.

— Хорошо, в пятницу.

— Это что у нас за число? — спрашивают тебя.

— Сейчас скажу, это... 13 сентября.

— Хорошо ли, — хмыкает трубка, — правильно ли будет встречаться в пятницу, да еще тринадцатого?

— Это будет замечательно, Анечка, как никогда! — отвечаешь ты с облегчением, близким к невесомости.

Почему так, а не иначе? Потому, Лева-почемучка, что кончается на “у” — более серьезных резонов для произошедшего я не нахожу.

Дано: 13 сентября 197... года, 16.45, время московское. Из пункта А в пункт В, где ждет ее не дожидется один незадачливый обожатель и незадавшийся поэт, следует со стороны Покровского бульвара прелестная девушка мальчикового сложения. До 17.00, когда назначено свидание, осталось четверть часа, и девушка успевает в срок. Но она не торопилась бы в любом случае: во-первых, пунктуальность — не ее добродетель, и, во-вторых, у нее, что называется, ноги не идут на встречу с молодым человеком: она в разладе сама с собою и не готова дать решительный ответ на его мольбы и истеричные ультиматумы. Но и отказаться от свидания у нее сил не нашлось — не пробрасываться же воздыхателем? Так вот нерешительно она и бредет. Перешла улицу, купила в ларьке мороженого, съела и закурила на лавочке у пруда с лебедями. Осень чувствуется в особой подсветке небес и запахе — пока только в этом. Листья еще не пожелтели, холод не пробирает. Ткнулся ей в колени черный пуделек, она потрепала его в рассеянии по шерстке. О чем она думает? Или вспомнила, как ровно в этих местах недавно крутила любовь с поэтом средних лет? Пока для молодого человека в пункте В еще не все потеряно. Интересно, что подсказало девушке ее девичье сердце, если, не дойдя нескольких сотен шагов до памятника комедиографу Грибоедову, она по наитию решила завернуть мимоходом в дом с зооморфным орнаментом, где считанные минуты назад в приступе черной меланхолии покончил с собой некто Чиграшов, поэт, каких поискать, на что, впрочем, девушка плевать хотела, и он же в течение полутора месяцев минувшего лета — счастливый любовник означенной юной особы? Книга философа Шестова из домашней библиотеки

новопреставленного — хороший предлог для внезапного визита, хотя вернуть ее вспять по цепи должен бы, согласно приличиям и конспиративной этике, тот самый молодой человек, который уже в нетерпении поглядывает на уличные часы над конечной остановкой трамвая. Девушка пересекает транспортную протоку, омывающую бульвар, входит в знакомый подъезд и избегает на третий этаж. Но и сейчас для ожидающего девушку молодого человека все еще остается малый проблеск надежды, потому что в момент недавнего ухода молодого человека из той же квартиры ее жилец, в дверь которого — и раз, и два, и три — звонит избранница нашего героя, остался в полном одиночестве: день-то будний, и соседи кто где в поте лица добывают хлеб свой. А мертвые дверей не отпирают.

Но здесь-то против всяких правил и происходит непредвиденное изменение в условиях задачи. Из пункта С — “Комбинат твердых сплавов”, что на Стрелецкой улице, — на час раньше окончания рабочего дня ушла и неумолимо приближается к месту прописки и фактического проживания соседка покойного, Нурия Рашидовна Сотрутдинова. Она отпросилась у начальства, сославшись на головную боль, или в ее конторе прорвало трубы. (Я испытываю надрывную злобную радость при мысли, что такая мелочь, как неисправности городской водопроводной сети, возможно, принимает самое деятельное участие в моей судьбе.) Соседка оказывается у собственного парадного не раньше и не позже, а ровно в то мгновение, когда девушка выходит из подъезда ей навстречу, подумывая, что отсутствие обитателя квартиры даже к лучшему, поскольку избавляет от мучительных колебаний..., а раз так, то надо бы прибавить шагу, поскольку она уже опаздывает на свидание в пункт В.

— Может, за папиросами вышел? Занесите, оставьте или я передам, — говорит соседка, выслушав лепет де-

вухки по поводу возврата редкой книги, и пропускает гостью вперед, то есть назад. Далее — по второму кругу, как дубль кошмара под утро, когда, казалось бы, худшее позади, и склизкие чудища сбились со следа — ан нет: пропахший кошками подъезд, пять лестничных маршей, поворот ключа в замке и...

Спрашивается в задаче: дойдет ли в свете случившегося девушка мальчикового сложения до места, оговоренного в условиях задачи, — пункта В?

Исходя из горького опыта последующего тридцатилетия и необъяснимой, но повальной склонности человека к смерти, ответ представляется однозначным и может быть сформулирован с апостольской прямоотой — никак.

Между тем в пункте В продолжается нервное, но сосредоточенное ожидание, которому метафизически суждено длиться $n - 20$ лет + 83 дня + 83 дня, где n — переменная составляющая моего земного возраста (долей 20 лет и 83 дня со дня моего рождения до встречи с Аней плюс 83 дня день в день со времени Аниной смерти, пока я по неведению числил ее в живых). Но тогда, давным-давно, внимание влюбленного на мгновение развлечено завыванием “скорой помощи”, и он равнодушно провожает взглядом карету с красным крестом, пересекающую трамвайные пути и ринувшуюся в сторону, противоположную той, откуда молодой человек пришел на свидание.

И ведь дело сделано моими же собственными руками! Лампочку ввернуть не умею — и не берусь, а здесь напортачил, как спившийся монтер.

Природа наделила меня памятью и наблюдательностью исключительными, но избирательными: пустячные разговоры четвертьвековой давности могу разыграть по

ролям слово в слово — с сопутствующими им телодвижениями и мимикой, а новую скатерть на обеденном столе у себя в квартире, к жениному огорчению, не замечаю.

Шел на убыль апрельский вечер. Стоя у окна, потому что в комнате стемнело, а света по рассеянности не включали, Чиграшов в домашней вислой кофте на деревянных пуговицах шурился в машинописную страницу, а я ерзал и нервничал на стуле в углу, ожидая суда над своим новым стихотворением, которое мочи нет как нравилось мне. (Я и по сей день по традиции заканчиваю им выступления. Правда, в чиграшовской редакции.) Чиграшов взял за обыкновение довольно болезненно поддразнивать наше с Никитой элегическое нытье, вряд ли догадываясь, что адресат воздыханий у обоих лириков один и тот же. По сей день у меня где-то на дне архива хранится автограф моего стишка, где напротив строки “Будь мне, пожалуйста, сестрой” карандаш Чиграшова вывел ямбом же: “А лучше — бунинской кузиной”. Но на этот раз я был доволен написанным и, потупясь, предвкушал похвалы:

Когда в два ночи жизнь назад на Юге
 Проснёшься, а родители ушли,
 И с танцплощадки звуки буги-вуги
 Враз отрывают койку от земли,
 И танго в знойном небе Аргентины
 Не помещается и входит в дверь...
 И всё это, любимая, поверь, —
 Поэзии моей первопричина.

— Ишь, как вы расписались славно, Лева. Весна, что ли, в крови играет? Аж завидно. А я последнее время, когда доживаю до новой листвы, испытываю неловкость: зачем Он, — жест большим пальцем в потолок, — тра-

тится на меня, если я уже не в состоянии оценить всего этого в полной мере? Очень даже ничего, Лева, но последние строки — из рук вон.

— Почему? Объясните.

— Да что тут объяснять? — он вдруг с места в карьер выплил. — Вы ведь, по существу, попрошайничаете, только с кокетливой ужимкой, привлекаете к себе внимание, напрашиваетесь на зависимость, наконец! Так ли уж любимой неимется докопаться до первопричин вашей лирики? Не важничайте, Лева: всем, кроме вас самого, начхать с высокой колокольни на поэзию вообще, на нашу с вами в частности. Не хватайте прохожих за рукава, не посвящайте их в секреты ремесла, у каждого собственных забот полон рот. Поэзия — довольно небольшое дело. Мой вам совет, приучите себя хорошенько к мысли, что единственный человек, кому ваша лирика по-настоящему нужна и интересна, — вы сами и есть. Иначе не миновать вам ходить в обиженных. И еще: представьте себе вещи в самом мрачном свете, я имею в виду способность публики проникаться поэзией. Так вот, в действительности все обстоит гораздо хуже — и в этом нет большой беды, наоборот: меньше жалких иллюзий — меньше жалкой нервотрепки и разочарований. Извините за азбучные истины, но азбука — на то и азбука, что без нее не обойтись.

— Презрение к публике кажется мне не азбучной истиной, а банальностью, даже штампом, — осмелился я возразить, рассерженный на Чиграшова за недооценку моего опуса.

— Почему презрение, откуда презрение? — взвился он пуще прежнего. — Презирать — тоже знак внимания, тоже реверанс, только с вызовом. Не надо брать публику в расчет вовсе. Единственный интерес к моим писа-

ниям, который я приемлю, приветствую и на который, слаб человек, уповаю, — чтение через плечо пишущего, фигурально выражаясь. Все остальное — “кушать подаю”; но стихи в сервировке не нуждаются... Экая важность: “Моих стихов первопричина”, — проблеял он нарочито противным голосом на мотив “Куда, куда вы удалились?”. — Как хотите, Лева, а концовка — хуже некуда.

— Предложите свою, — сказал я, нагледя от обиды.

— Задали вы мне задачу... Ну хоть — “Всё это, рассмотрев до середины, я скатываю в трубочку теперь...”.

Я порывисто взял лист со стихотворением с подоконника и, нещадно скомкав, сунул злополучный беловик в карман.

— Вы никак обиделись? Простите меня, Лева: я срываю на вас свое скверное настроение. Хорошее стихотворение, хорошее. А “любимая” — это для красоты, риторический прием или и впрямь — “пора пришла, она влюбилась”? Представили б меня, не съем же я вашу “симпатию”, как говорят у нас в депо. Небось, поэтесса, ворожит в стихах, ведьмовством стращает вас? Угадал? Приводите при случае.

Я и привел. У неимущего убавилось, но и имущего поздравлять вроде тоже не с чем.

А нечаянный подтекст некоторых чиграшовских сентенций проступил, как водяной знак на просвет, много позже. В одно из посещений я посетовал на отсутствие сюжетов для литературного повествования.

— Как посмотреть, — возразил Чиграшов. — Сами же рассказывали мне про фотоснимок, на котором вы завили среди лепнины с фасада моего дома. А Ходасевичу подобного пустяка хватило на поэму. И, касатик! (Ничего, что я так игриво?) Вы, Лева, в данный момент обре-

таетесь в горячей середке жизни, а когда-нибудь остынете, глянете на бывшее со стороны и увидите, что, может статься, вы тогда, то есть нынче, и пребывали в самом хитросплетении интриги.

Господи, когда все это было? В те незапамятные времена, когда заваривалась каша, которую я расхлебываю до сих пор, и без пяти минут самоубийца учил меня уму-разуму.

Умерла-умерла-умерла, — до одури повторяй шесть звонких звуков, пока слово не запомнит своего собственного безапелляционного смысла, как сошедший с карусели не узнает привычной местности из-за головокружения. Мерлау-ерлаум-рлауме-лаумер-аумерл — нет, все-таки умерла: *Ordnung muss sein* — равновесие восстановлено, вальсирующие предметы заняли исходные места.

Такая Аня случается один-единственный раз в миллионы лет. И в придачу требуется шальное везение, чтобы время наобум, но точь-в-точь вделось в пространство, и первозданная совпала со Львом Криворотовым, которому только такая и нужна! Вероятность подобного совпадения исчезающе мала, ибо промах на йоту мимо игольного ушка окунает сопротивляющееся воображение за шиворот в доисторическую пустоту и темноту, оглашаемую ревом ящера, — антураж грошовой чтива в белогорячечных обложках, каким соблазняет пассажиров пригородной электрички книгоноша с дерматиновой торбой... Однако свершилось: монета встала на ребро. Но и при этом, неправдоподобно благоприятном стечении тьмы обстоятельств горе-Адаму, вот незадача, не удастся войти к своей избраннице и познать ее! Когда вдруг мелочь, пустяк, абракадабра — нарушение, видите ли, тканевого гомеостаза — ведет к возникновению опухоли

прямой кишки или матки и метастазам в брызжейку, и совершенно случайная, но филигранная сводническая работа вселенной оборачивается сизифовым трудолюбием — о каком Боге может идти речь! Есть, правда, непроверенное утверждение, что телесная оболочка вновь становится безмянным сырьем и сызнова идет в дело, а начинке — светит блистательная карьера. Но Анино тело было на одном дыхании подогнано к душе, и уже не разобрать, где кончалось оно и начиналась она.

Будут меняться границы государств и политические режимы; разгорится свара — выдавать или нет престарелого державного головореза международному трибуналу; вулкан на острове Тенерифе продерет глаза, как и не спал вовсе, и прихлопнет с дюжину отелей со спящими в них курортниками; оголтелое быдло в разных частях света примется бить витрины в поисках виновного или по какой футбольной причине; столетний австралиец-миллионер приземлится в Вьегре на воздушном шаре, отчего у трех местных кормящих матерей пропадет молоко; владыка полумира опрометчиво даст за щеку безответной уборщице — то-то газетчикам пожива; пропадет на подступах к Эвересту очередная партия альпинистов и много прочих разных разностей произойдет, пока, наконец, юла не запнется и не завалится с грохотом набок — но никогда уже атомы не утораздит сочетаться таким, единственно устраивающим меня, Аниным, образом. И даже если вечность с бесконечностью, близняшки-дебилы, хлопотливо переливая от нечего делать из пустого в порожнее, сварганят от фонаря рано или поздно через миллиард-другой лет таких же в точности “Льва” и “Анну” и уложат их в двухспальную кровать голова к голове или *sixty nine*, эта научно-фантастическая идиллия не утешит меня, где бы я — или что там от меня останется —

ни был. Я-копия не догадаюсь, что я и есть тот самый я-оригинал и дело пошло на лад. Ибо память обо мне-прототипе обесточится в свой срок вместе со мной, и обратной связи космического дублера-баловня со мной, бесталанным, не предвидится. Его не осенит стать мной, сегодняшним и безутешным, — просунуть в этом лунапарке свою улыбающуюся рожу в овальное отверстие моих фанерных обстоятельств и навсегда исправить непоправимое. Ведь не помню же я своих теоретически допустимых былых воплощений! Разве что невразумительный сон, да и тот не в руку, бросит косноязычный и тусклый намек на возможность инобытия...

Узнавание было настолько разительным и абсолютным, так громко — на всю махонькую булыжную площадь, внезапно просиявшую на выходе из закоулка, — застрекотали кузнечики обморока, что я на мгновение выбрал голову в плечи.

Хотя кое-какие упреждающие дуновения и краткие, заметные мне одному, но острые приступы обонятельных и зрительных галлюцинаций подчас отвлекали от докладов на утренних заседаниях, притупляли реакцию во время кулуарных разглагольствований с коллегами-филологами и становились причиной моих, списанных добродушными собеседниками на советский английский, ответов не попад в разговорах за академическими фуршетам на протяжении четырех венецианских дней, предшествовавших Гранд Дежавю. То чудилось мне, что улицей, шириною ровно в раскрытый зонт, уже ходил я не однажды давным-давно, когда улица эта еще была коридором коммуналки. То застывал я как вкопанный у перил какого-нибудь несметного мостика, заслышав истошный запах рыбного магазина из канувших отечественных пятидесятых — и всплывал со дна па-

мяти, словно со дна чугунной ванны с облупленной эмалью, квелый сом, обреченно шевеля жабрами. То, глядя на тесную череду роскошно-ветхих и блекло-разноцветных зданий вдоль Большого Канала, видел я, вопреки очевидности, коврики и лоскутные одеяла на бельевой веревке поперек своего первого московского двора, отраженные ярко-синей дворовой лужей — лет сорок назад.

Так что были предупреждения, были — и тем не менее кульминация ложного воспоминания, очная ставка с иллюзорными достопримечательностями мнимой прогулки тридцатилетней давности, застигла меня врасплох. Я даже судорожно оглянулся, нет ли где поблизости платяного шкафа, на худой конец — обернутого в старую простыню дорожного велосипеда, и мне померещился затхлый аромат старушечьих мехов. Но я собрал до кучи остатки здравого смысла, сказал “цыц” разыгравшемуся безумию и, смирившись с былью, в мелочах копирующей небыль, принялся кропотливо, как все, что я делаю, сверяться с путеводителем и приспособливать реальные названия к декорациям юношеской забытой-презабытой грезы. Задник, падути и кулисы сновидения пробуждались и приходили в чувство на глазах, как фотобумага в корытце с проявителем. Дивясь собственной скорости освоения с бредом, я бродил вокруг площади и по глянцево-му *Polyglott*'у сверял, точно вернувшийся с чужбины владелец, незабвенную наличность с инвентарной описью, едва ли не зажимая пальцы, чтобы в случае чего спросить с кого следует за недостачу.

Первое: тогда, помнится, слышался звон — вот она, колокольня церкви Санта-Мария-дельи-Кармине, на месте. Сама маленькая площадь с пересохшим фонтаном, пересеченная мною смолоду во сне, а теперь, на исходе зрелости, — наяву, оказывается, носит имя Санта-Бар-

наба, хорошо, примем к сведению. Теперь причал — я принялся деловито озираться. Куда запропастился причал, к которому тихо-тихо подвалил родич речного трамвайчика целую вечность назад? Нашелся за углом и причал, окрещенный путеводителем Ка'Редзонико и в данную минуту, как на заказ, поскрипывавший под нажимом пришвартовывавшегося к нему прогулочного катера. А здешнему названию катеров — вапоретто — меня уже успела обучить моя венецианская чичероне Арина. И последним доказательством в пользу свершившегося чуда было то самое освещение — когда еще светло, но причина света вызывает недоумение. И вот, убедившись, что недвижимость свидения в целостности и сохранности, я испытал облегчение и ужасную грусть, словно решение головоломной задачи сошлось наконец с ответом, но другой мне уже никто никогда не задаст — время вышло. И я подумал: “всего-то” — по поводу прожитой жизни.

Я перевел дух и закурил неурочную четвертую сигарету: не всякий день становишься очевидцем подобной чертовщины. Значит, имело все-таки смысл повести себя с Ариной, как неблагодарная свинья, спрятаться за спины шествующих на завтрак филологов и дать деру с черного хода, чтобы не попасться не в меру энергичной подруге на глаза. Грех жаловаться, по Арины было слишком много: ничего принципиально нового, но за годы и годы я успел отвыкнуть от столь плотной опеки, пусть даже и продиктованной лучшими намерениями. Дальнейшие мероприятия обещали идти по нарастающей — и так вплоть до отлета домой, так что, — подумал я, — еще успею загладить вину и выдать Арине свое бегство за ажиотаж дикаря и бестолочи. Сегодня до ночи, решено, гуляю сам по себе. Венеция, как никак, дается

человеку один раз, и надо побродить по ней в одиночестве, чтобы не было мучительно стыдно... Тем более что — гора с плеч — вчерашний доклад мой о Чиграшове приняли даже лучше, чем я мог предположить. А еще днем раньше Арина, старая перечница, растрогала до слез, когда в самом конце своего семинарского выступления (“Катакомбная лирика” или что-то в этом роде), посвященного русскому поэтическому андеграунду семидесятых, так называемому *задержанному поколению*, указав на меня свернутыми в рулон тезисами доклада, сказала, что в зале, к счастью, находится один из ярчайших представителей помянутой литературной генерации. Слависты громоздко, но дисциплинированно оборачивались в предложенном Ариной направлении, находили меня глазами и улыбочиво кивали. Какой-то доброхот несколько раз ударил в ладони, и спустя минуту жидкие хлопки доросли до камерной, но сладкой овации. Спасибо, дорогая. Не говоря уже о том, что мое участие в столь представительном симпозиуме было во многом делом рук все той же Арины. Встретились мы, будто и не расставались, поэтому неудивительно, что решительная подруга моей молодости мигом вспомнила о своих тридцать лет как просроченных правах на меня и взяла в оборот, в том числе и в благодарность за прием, оказанный нами Лео. Происхождение молодого Вышневецки по обоюдному негласному уговору было обойдено молчанием.

Арина каждый день ждала меня чем свет в холле гостиницы; высмеяв за тривиальность мои хрестоматийно-туристические полползновения, строго-настрого запретила ходить общепринятыми маршрутами и водила по “своей Венеции”; потчевала морскими гадами в ресторанах и, разумеется, платила из своего кошелька, то бишь кредитной карточкой. Когда пришла пора, слишком зна-

комая каждому соотечественнику за границей, исполнять по списку капризы домашних, Арина с иронией протянула: “А-а-а, шоппинг...” Впрочем, помочь помогла, а то бы я при моей скованности, куцем английском и с вырезанными из плотной бумаги “следами” жены и дочери потратил на покупки прорву времени, купил бы, как всегда, не то и втридорога.

Потом ездили катером на остров, славный своими кружевами, и остров — колонию стеклодувов, и на остров, где спят вечным сном заодно с простыми смертными четыре знаменитости. А я ошеломленно пялился на всю эту невидаль, глотал пригоршнями таблетки от давления и поноса — патриотическая реакция моего желудка на местную воду, — вздыхал и тяготился. Эх, нас бы, да тридцать лет назад, да сюда бы... А мы так бездарно профукали свои лучшие годы, скуля под семиструнку, ломясь в открытые, а хоть бы и закрытые двери, ночи напролет надсаживая глотки в сдобренных портвейном словопрениях на шестиметровых кухнях, в сторожках и котельных...

И наконец — пятый день конференции, утреннее заседание, предшествовавшее моему мальчишескому бегству от ангела-хранителя в образе семидесятилетней двухильной эмигрантки и — подумать только! — бывшей любовницы. Как равный среди равных, с сознанием vyplненного долга я уселся неспешно на откидное кресло в конференц-зале, приветливо раскланиваясь направо и налево со светилами славистики, большинство из которых я знал и чтил до поры лишь по публикациям, когда почувствовал, как от объявления, прозвучавшего с председательской кафедры, рубашка прилипла у меня к спине. Председатель, огромный англичанин с бронзовой лысиной и неправдоподобным именем Джон Браун, дока в

современной русской поэзии, на своем роскошном русском объявил доклад Никитина, с улыбкой объяснив изменение в программе заседания хорошо известной в учебных кругах эксцентричностью русского коллеги, нагрянувшего на конференцию экспромтом — проездом из лекционного турне по немецким университетам.

— Побольше бы таких ЧП, — с наслаждением щегольнул англичанин советским новоязом и, описав широкий приглашающий полукруг рукой, пророкотал:

— Добро пожаловать на огонек, *enfant terrible* Никитин!

Не он. Не он! Человек лет шестидесяти-шестидесяти пяти ничем не примечательной внешности, с лысиной и брюшком, оттягивающим сорочку под расстегнутым пиджаком, лучась милой шкодливой улыбкой, извинился за нарушение регламента заседания, сказал, что на дерзкое вторжение его подвигло необоримое желание засвидетельствовать свое искреннее почтение высокому собранию, сослался на понятную робость, овладевшую им, когда ему в последнюю перед выступлением минуту стало известно, что о Чиграшове уже держал речь в этой аудитории — и кто? — сам Криворотов! Словом, симпатяга с ходу обаял ученую публику, включая, разумеется, и меня.

И все-таки он. Не в смысле, что Никита, а именно тот Никитин, не однофамилец. Ибо первые же фразы доклада, последовавшего за витиеватым псевдосмирненным вступлением, обнаружили хорошо знакомую мне исследовательскую хватку: наблюдательность с душком (довольно саморазоблачительную, если вдуматься); никаких благоглупостей, напротив, обращение с автором, как с заведомым мошенником, которого можно и нужно вывести на чистую воду; аргументация ниже пояса — ино-

гда и в прямом смысле. Я не сторонник этой, с позволения сказать, методы, но слушать из зала или читать — одно наслаждение. Так я и слушал: с несколько порочным удовольствием, помноженным на благодарность — как-никак докладчик, сам того не ведая, избавил меня от затяжной мании преследования.

Названный попросту — “Свобода и закон” — доклад, очень по-никитински, являлся крайне интимным погружением в предмет разговора — творчество и личность Чиграшова. Помянут был цикл стихотворений “Белый клык”, от которого переброшен мостик к джеклондонскому герою, тоже полукровке; имелась в виду, конечно же, профессиональная — ловко! — принадлежность отца Чиграшова к “волчьей стае”. Отсюда делались выводы об амбивалентном отношении покойного поэта к проблеме, вынесенной в заголовок выступления. Уже через минуту Никитин походя ссорил Чиграшова с Ходасевичем, доводя до мировоззренческих обобщений слова последнего о законе и свободе, сказанные им применительно к четырехстопному ямбу. А там было рукой подать до пушкинских “покоя и воли” в трактовке Набокова — на примере оды “Вольность”, “Онегина” и “Из Пиндемонти”. И вся эта хулиганская ученость лихо балансировала на грани шарлатанства. Трюкач, но талантлив, собака, ничего не напишешь, а то я уже малость притомился от наукообразия предыдущих докладов и концепций без изюминки. Никитин сорвал заслуженные аплодисменты и подтвердил свое реноме возмутителя спокойствия.

На предусмотренном расписанием ланче я поискал глазами старинного соперника, чтобы позжать ему руку и пожурить за лесть, но не нашел сразу, а риск напоротья на Арину был слишком велик; так что я счел за благо ретироваться через запасной выход и пошел шляться, опас-

ливо обогнув стороной парадное крыльцо, на котором мы загодя условились встретиться с Ариной, — и ноги сами вывели меня на обетованную площадь, чтобы одно, хоть одно обетование сбылось...

Значит, все-таки стоило смыться. Я направился к урне выбросить окурок и собрался уже обойти свою сбывшуюся площадь по второму кругу, когда колокольня Санта-Мария-дельи-Кармине начала негромко благовестить. Я зажмурился, чтобы где-то высоко-высоко-высоко в лад колокольному расслышать легкий звон лучшего горя моей жизни. Тихое бряцание сыпалось с белесого неба и бродило по каменным закоулкам, многократно отскакивая от зеленой воды, как брошенная из суеверия монетка. И я снова вздохнул: “все-то”.

И словно площадь была оперными подмостками, а колокольный звон знаменовал начало нового явления, валом повалили из боковых улочек в мое урочище разноплеменные праздношатающиеся, главным образом, коротышки-японцы, увешанные фото- и видеоаппаратурой; знаменитые голуби “венетийских площадей” — и те уступали им в числе. Чтобы не отвлекаться на туристскую массовку и продлить на миг-другой горько-сладкое оцепенение, я свесился через перила и залюбовался на траурный поезд гондол прямо у себя под ногами, бесшумно след в след проскальзывавших под арку мостика, когда меня сзади окликнули по имени и отчеству. Никитин спешил ко мне через площадь с цветастыми полиэтиленовыми пакетами в обеих руках.

— Дороговизна в этой хваленой Италии, доложу я вам! — закричал он мне запросто, по-командировочному.

Я приветливо фыркнул в ответ, потрясая своими таковыми же поносками.

— Но девки мои, — продолжал он, — то бишь жена, дочь и внучка, кипятком ссаться будут. Уф, дайте отдышаться, едва догнал. Кричу вам, кричу, а вы — ноль внимания, зазнались, думаю, или так называемый эстетический шок подцепили и старых друзей в упор не видите.

“Начинается”, — подумал я. Довольно типовая внешность Никитина вблизи и впрямь говорила мне что-то. Но с некоторых пор моя хваленая зрительная память стала давать сбои. Правда, я владел в совершенстве искусством диалога на одних местоимениях, избегая имен собственных. Широко пользовался испытанным способом освежить память — с фамильярным призывом “Знакомьтесь!” подводя очередного “мистера Икс” к третьему лицу, а сам обращался в слух. Но данный случай был мне в новинку: имя известно, зато куда-то в щель меж полушариями мозга запропали сведения о не разлей водой прошлом. На мое везение, собеседник трещал без умолку, давая мне вдосталь наиграться в угадайку:

— Внучке-пигалице пяти нет, а уже перед зеркалом полдня проводит, та еще штучка обещает вырасти, будьте уверены. Сообщения вашего давешнего, кстати сказать, читал ксерокопию — просто тютелька в тютельку, я и сам нечто подобное собирался накропать, но — ваша взяла, победителя не судят. Как жизнь-то людей сводит, а, дивитесь, небось? Кто бы мог подумать, вот так, как два пальца об асфальт, — и в Венеции? Кофейку за встречу (что умеют макаронники — то умеют) или чего-нибудь покрепче? Я угощаю, елочки точеные...

— Подождите, — сказал я. — Вы — Георгий, если не ошибаюсь, Иванович? Вы меня допрашивали?

— Скажите еще, пытал, — рассмеялся Никитин. — Беседовали, Лев Васильевич, мы всего лишь бе-

седовали. Будем знакомы по второму разу: в мире — Иван Георгиевич, впрочем, это дела не меняет. — Мы обменялись рукопожатиями. — Нет, что дееется, а? Двадцать лет спустя, чистый “Виконт де Бражелон”!

— Тридцать, — поправил я его.

Мы уже топтались у стойки кофейни, и Никитин, тыльной стороной ладони решительно отталкивая мою руку с зажатыми в ней лирами, заказывал два эспрессо.

— Лучше стоя, по-походному, а то они, шельмы, цену вдвое задерут, — громко предостерег он меня, направившегося с двумя чашечками кофе на поиски свободного столика.

Мы притулились у окна с видом на мою площадь. От всей этой венецианской фантазмагии, от неожиданного-негаданного парада-алле прошедшего совершенного времени я “поплыл”, как после нокаута, и едва ворочал языком — и напористое словоизвержение собеседника обрастало смыслом с некоторым запаздыванием.

— Злой кофе! — сказал Никитин. — Вода, что ли, у них какая-то особенная? Вот погодите, в Москве вам не хуже сварю. По старинке. В джезве. На газу.

Чтобы поднимающаяся пена напоминала свитер, снимаемый через голову.

— Как живете-можете, Лев Васильевич? Судя по печатным трудам последнего десятилетия, все больше Чиграшовым на хлеб с маслом зарабатываете? И правильно делаете: кому, как не вам. Броская биография обрзовалась у Чиграшова, доходная!

— Вашими молитвами, — уловил я с усилием нить разговора.

— Не без этого, скромничать не стану. Но и у вас, Лев Васильевич, рыльце в пушку.

— То есть?

— Ну хорошо: могло быть в пушку — на ваше счастье до дела не дошло. Вы ведь там, дражайший, очень интересные показания подмахнули. Будем поднимать протоколы, вздымать архивную пыль?

— Никак шантаж? Мило. А то вы не видели, *как я* “подмахивал”: не читая, наспех, по-дилетантски.

— Вот и я о том же. Надо было прочесть, милейший, а не рваться любой ценой прочь из застенков зловещего замка Иф. Что-то меня на Дюма сегодня повело, видать, к дождю. Снимемте, Лев Васильевич, белые фраки, мы выросли из них, в подмышках жмет, и не на людей они вовсе пошиты. Будьте проще, как в Марьиной роще! Нам эта спесь и пышность романтическая — что корове седло, оставим ее Чиграшову. Оба мы с вами не гении, оба хороши... Но до каких времен Бог дожить сподобил, уж не знаю, к добру или к худу! Ведь какие пророки пророчили — а события, хоть ты тресни, развиваются по стиляге Ваське Аксенову, свистопляска да и только! — сказал он чуть ли не с грустью.

— Амико! — вдруг окликнул Никитин спешившего мимо официанта и жестами попросил того сфотографировать нас за кофе. Официанту подобные просьбы были не внове, и, улучив момент, когда вспышка никитинской “мыльницы” часто замигала, мой жовиальный соотечественник вдруг по-свойски приобнял меня.

— Извините за вольность, — пробормотал он смущенно, — сентиментален стал с годами донельзя, слезы близко. Ну, “добрых мыслей, благих начинаний”, — как сказано в романе, который мы с вами черт-те сколько лет назад пробовали слабыми своими силенками, топорно, но с жаром, инсценировать. А мне, старому подкаблучнику, еще в кожгалантерею — у моих баб не забалуешь.

И уже с середины площади он обернулся, сделал шутливой книксен и крикнул:

— И пани Вышневецкой — мой низжайший, с кисточкой!

А вскоре и “пани Вышневецкая” объявилась и бдительно пасла меня оставшиеся двое суток вплоть до моего отлета восвояси.

Уже в самолете Никитин без церемоний подсел ко мне на свободное “место для курящих”, извлек из фирменного пакета “Duty free” фляжку “Смирновской”, и мы, слово за слово, уговорили ее, родимую, под аэрофлотовскую шоколадку. Я сидел, как именинник: на свободном кресле возле иллюминатора красовался Аринин презент, старинная моя мечта — кожаный портфель ценою в месячный российский заработок ведущего чиграшововеда.

— вещь! — одобрил Никитин мою обнову. — нас с вами переживет, вечная вещь!

Он ошибался.

В прошлую пятницу на широкую ногу, с осетровыми и ананасами, во вновь отреставрированном ампирном особняке чествовали очередную модную бездарь — писательницу с немигающим взглядом рептилии и девственно грязными, как у старой куклы, патлами, зловещую кокетку неопределенного возраста, помавающую длинным мундштуком в короткопалой пятерне. От одной мысли, что кого-нибудь когда-нибудь утраздило делить с чаровницей ложе, меня передернуло, и я подошел к ней облобызаться и поздравить с заслуженным триумфом. Она как раз закончила давать интервью для программы телевизионных новостей и теперь обменивалась репликами с помятой позавчерашней знаменитостью — бритым наго-

ло прозаиком в шейном платке, заискивающим перед хамоватой сегодняшней звездой; а на них двоих, учашенно сглатывая и почтительно соблюдая дистанцию, пялились звезды восходящие, послезавтрашние. И я подумал, что мой удел, как он ни подозрителен, еще не худшее из...

Умеренный переполох в артистической элите произвела написанная нахрапистой бабенкой “Опись сущего”. Сочинение, по заверениям шарлатанов-экспертов, с глубочайшим подтекстом и обширными культурными коннотациями. В сверкающем вестибюле продавался с лотка (а мне, неотразимому, достался за так, с автографом и смачной бизешкой в придачу) только-только отпечатанный в Финляндии фолиант — на мелованной бумаге, с угольно-черным обрезом, шелковой закладкой и распалюющими ни к селу, ни к городу репродукциями Бальтюса, проложенными папиросной бумагой. (Чиграшова печатают — когда печатают — в какой-нибудь зачуханной типографии, с косыми полями и в переплете, содержимое которого выскальзывает на пол уже через неделю. И на том спасибо.) Писанина модного автора самым отдаленным и рабски-обезьяньим образом соотносится с былыми литературными причудами отсутствующего Шапиро. Но озаренные вдохновеньем первооткрывателя, смыслом и обаянием “птичьих базары” Додика отличаются от манерной галиматьи виновницы торжества, как живое от мертвого. Я попросил слова четвертым по счету и в конце куртуазного и ложно-многозначительного тоста ввернул (уместный аккорд) цитату из моего подопечного — *noblesse oblige*.

Спиртного было в избытке, и я, за отсутствием жены, не заметил, как наклюкался, хотя мне, матерому гипертонику, алкоголь — нож острый. Репутация высокомерного (за счет биографической близости к покойному

классику) и вообще малоприятного человека избавляет меня от необходимости задерживаться на неофициальной части подобных сборищ. Но в тот раз выпитое с непривычки ударило мне в голову, и я по своей воле слонялся от столика к столику и молот языком. На игривый лад настроили меня и две сентиментальные встречи: столкнулся я лицом к лицу с молодящейся Лайсой, а после за колонной перебрался словечком с томной Глицерой, московскими знаменитостями средней руки и героинями моих стародавних любовных интрижек. Со стороны посмотреть — чинная беседа властителей дум, а властители-то дум знакомы с расположением интимных родинок друг друга. Словом, седина в бороду — бес в ребро: я расшалился и уходить по-английски, против обыкновения, не торопился. Но вскоре пришлось: черт меня дернул ответить на приветствие одного шапочного знакомого, кругом разобиженного болвана. Ощутимо притиснув меня к лепнине камина и по-мужицки тыкая, он принялся ломать комедию: косить под простеца и намеренно громко, в пику столичной швали повествовать с выматывающими душу сермяжными подробностями (“рубероид”, “заподлицо”, “супесь”), как они в выходные с “батей” рыли подпол где-то у себя на Вологодчине, а потом, само собою, — банька, милое дело! Уже на улице, преследуя меня квартал-другой, мой мучитель разом позабыл симулировать патриархальную простоту и обнаружил завидную осведомленность касательно чужих грантов, премий и “загранок”. На полуслове бросив меня на углу, он негодуяще зашагал поперек мостовой под визг тормозов, подзреваю, на очередное суаре — колоть глаза светской черни “батей” и “баней”.

Предоставленный наконец самому себе, я остановился в нерешительности. Идти домой? Но непривычные пустота

и тишина квартиры после недавнего отъезда жены и дочери по путевке в Анталию сейчас были в тягость — то ли дело днем, когда углубленно трудишься. Или пошляться, авось удастся заснуть не под утро со снотворным, по моему треклятому обычаю, а как это принято у нормальных людей?

Обитатель “спального” района, давным-давно не навевывавшийся в пределы Садового кольца, я дивился и дичился, точно приезжий, едва различая под свежим гримом сызмальства знакомые черты города. Ему мало показалось навести марафет — он вернул улицам, переулкам и площадям некогда конфискованные у них имена, чтобы никому и ничто уже не напоминало о его долгом грехопадении. Однако я был пьян и элегичен. Истошно синее, как витрина, майское небо медленно меркло в ущелье проулка. За возлияниями и банкетным трепом мы, видимо, проморгали дождь, и теперь на обочинах поблескивали лужи и в воздухе слышался сильный запах тополиной зелени. Я состариться успел, а тополию — хоть бы хны: пахнет себе, будто мне пятнадцать, двадцать или двадцать пять. Окончательно стемнело. Не узнавая окрестностей, не зная, который час, я брел наобум. Тихие голоса и шаги редких прохожих усугубляли тишину и безлюдье моего маршрута. По левую руку от меня вырисовался потемкинский фасад разрушенного до основания доходного дома, задрапированный огромной пыльной сетью. Сквозь зияющие оконные проемы руины виднелся неприкаянный двор под полной луной. Дворовый тополь-исполин отбрасывал на желтую стену соседнего уцелевшего строения тень, на глаз более вещественную, чем он сам. Я оглядел шестиэтажную бутафорию с недоверчивым удивлением и двинулся дальше. А уже через сотню-другую шагов этого нетрезвого путешествия — как будто разом подняли занавес, многократно

прибавили звука и яркости — передо мной, остолбеневшим, всюду сверкал и грохотал город, Город с большой буквы. По мостовой впритык друг к другу, отливая лаком и оглашая ночь гомоном клаксонов и магнитол, медленно, в несколько рядов ползли бесконечные вереницы автомобилей диковинных иноземных пород. Огромные зеркально-черные джипы в намордниках, обтекаемые, как обмылок, пунцовые полуночные с откидным верхом, неправдоподобной длины белые лимузины и прочая невидаль... Там и сям робко тархтели затрапезные транспортные средства отечественных марок, и казалось, что при первой же возможности они, натерпевшись сраму, вильнут в боковые улицы попроще. По проезжей части — против потока и в опасной близости к шикарнейшей технике — сновали малолетки, калеки на костылях и в инвалидных креслах и старики, протягивая в окна щегольских автомобилей цветы или честно побираясь. Роскошная улица куда хватало глаз сияла электричеством и вызывающим богатством. Батюшки-светы, да ведь это Пушкинская площадь! Ну и ну!

Была ночь, но толпа не редела. Я увидел многолюдье особой пробы: не будничную сутолоку часа пик, а ленивое шествие обремененных излишком, добившихся успеха людей, в сознании своей платежеспособности приценивающихся к удовольствиям наступившей ночи. Бабки с тюльпанами и сиреню теснились у спуска в метро — и цветочные испарения мешались с запахом мочи. Почти всю ширину тротуара запрудили столики открытого кафе, кишмя кишевшего праздничной публикой, которую на лету обихаживали официанты в фартуках и тубетейках. Мой наметанный взгляд за считанные секунды выделил из обилия молоденьких посетительниц двух-трех “Ань”, и я украдкой попялился на них, растрavляя душу

приблизительным сходством. Увлеченные флиртом с квадратными коротко стриженными ухажерами, о, если бы только эти блондинки знали!..

Словно на потеху прожигателям жизни, провоцируя остряков подшофе на соленые шутки и подбадривающие возгласы, тут же, с брехом, грызней и нетерпеливым поскуливанием справляли собачью свадьбу окрестные дворняги, с наглядностью аллегории передавая, как мне почудилось, суть и пафос происходящего от Манежной площади до Триумфальной.

Я в третий по счету раз отбояривался от нищего с расцвеченной чудовищным синяком физиономией, когда, задевая бедрами зевак и распространяя приторный запах дешевых духов, гурьба разбитных девиц в фривольных нарядах прошла толчею насквозь в шаге от меня. Одна из них — с перламутровыми, размером с детскую погремушку, клипсами в ушах — была всем Аням Аня; в профиль, во всяком случае, казалась вылитой. По пьяному вдохновению я мигом прервал свое изумленное созерцание Тверской и безотчетно потрусил за подружками с прытью, не оставшейся незамеченной, — они понимающе захихикали. Я улыбнулся сконфуженно, поскольку тотчас увидел себя со стороны — пятидесятилетнего, с животиком и пузатым портфелем через плечо, — и прекратил преследование, подумав, что игривость обуяла меня “на фоне Пушкина”, как в песне поется. Но и различие налицо: на кого-на кого, а на господина Криворогова никакие “женщины... взоров” не бросают. Да и вообще, похоже, город перестает держать меня за своего, и навсегда прошло время, когда дважды-трижды на дню возглас “Левка, мать твою!” заставлял меня оборачиваться на людном перекрестке... Чему удивляться-то? В продолжение почти полувекового моего земного существования

нарождаются в свое удовольствие люди, которым (и чем дальше, тем больше) я — современник лишь статистически... И перевес с каждым днем — на их стороне. А я и мои ровесники в убывающем меньшинстве. Износ поколения. Уже не город, а сама жизнь напряженно морщится при встречах, силясь вспомнить обстоятельства шапочного знакомства.

Администратор! Будьте любезны, “жалобную книгу”, перо и грамм двести чернил: я нынче в ударе.

Коротенькая одышливая погоня завела меня в какие-то вовсе железные дебри. Я заблудился в лабиринте, образованном несколькими стоявшими бок о бок поперек тротуара огромными мглисто-глянцевыми мотоциклами. Спешась, их владельцы, толстые, бородатые и гривастые мужики — сплошь в черной коже, усеянной металлическими заклепками, бляхами и ремешками, распивали пиво прямо из бутылок. Рокеры или как их там? Юные спутницы льнули к ним и залихватски прикладывались к початым бутылкам. Новые экзотические механизмы влетали на этот пятачок, как шаровые молнии, а другие, застоявшиеся, столь же эффектно уносили налитых пивом седоков и их приятельниц прочь. Возле меня с громом ожило огромное двухколесное чудовище: в седле с молодеватой небрежностью красовался парень в кожаных доспехах и цветастом шлеме. Взявшись руками в крагах за круто выгнутый руль, ухарь по-хозяйски горячил машину, и без того готовую сорваться с места. Оторви и брось деваха лет семнадцати от роду примостилась верхом позади мотоциклиста, положила наезднику руки на плечи и вдруг запросто обняла длинными ногами в немислимых портках его чресла. Мотоцикл взревел, взмыл и исчез в самой гуще полночного траффика. О! — вот крупный, наглядный экземпляр в мою коллекцию уже навсегда не-

возможного! О, как день ото дня удлиняется перечень деяний и жизненных явлений, напрочь заказанных мне! Где Льву Васильевичу отведено место зрителя, хорошо если не клакёра! Ликует чужая молодость и обдает животной радостью, как жидкой грязью из-под колес, а потерпевший принужденно улыбается вдогонку, прикидываясь, что в мыслях добродушно благословляет пострелят, когда, на деле, самое время издать хриплый отчаянный крик первой старости...

Чтобы не путаться под ногами незваным гостем, я прибил к павильону прохладительных напитков, купил банку джина с тоником, открыл ее, облив свой единственный обеденный костюм, и принялся наблюдать ночную фантасмагорию с почтительного расстояния. Прошаркал меж беспосадочных павильонных столиков слепец с картонным прямоугольником на груди, где химическим карандашом было выведено одно-единственное слово печатными буквами — “страдание”. Прогарцевали по тротуару вниз к Кремлю три всадницы — я уже ничему не удивлялся. Проковыляла старуха с козой на веревке, волоча в свободной руке сумку на колесиках с бутылками молока. Косым зигзагом, как заводная страшная игрушка, метнулась из-за мусорного бачка крыса и юркнула в разлом асфальта под гостиницей “Минск”. Странствующий зловонный монах попросил подаюния — и ушел ни с чем. Дядька моих лет прошествовал мимо прогулочным шагом с белым колченогим боксером на поводке. Азиат в рваном халате сосредоточенно ел что-то, сидя на парапете подземного перехода. Сквозь густую толчею невозмутимо, точь-в-точь по молдавской степи, легкой поступью прошли-прошелестели пять цыганок. Мелкотравчатые горцы в белых рубашках тихо и гортанно переговаривались в сторонке. Высокая, как на

ходулях, нищенка в кроличьей шапке-ушанке строго погрозила мне пальцем. А я все стоял, словно под гипнозом. А прохожие все брели и брели, и машины все ехали и ехали. И было что-то в этой людной ночной улице завораживающе-двусмысленное и злочно-багдадское. Миновала меня ватага подростков.

— Блин, блин, блин, — парило над ними, как звон бубенцов над стадом.

Вот именно: первая жизнь комом, а второй не предвидится.

— Развлечься не желаем? — раздалось справа.

Передо мной стояла самая последняя “Аня” — та, в перламутровых клипсах. На свету и в фас соответствие заветному оригиналу бросалось в глаза меньше, чем полчаса раньше в давке у открытого кафе, и все же...

— Как это? — не понял я вопроса.

— С девушкой, как еще?

— А это как?

— Пошли покажу, если деньжата при себе, — сказала она и за рукав повела меня через арку над устьем Дегтярного переуллка в темень на задах Тверской.

В считанные секунды оживление и грохот великой столицы сменились безлюдьем и затишьем совершенно провинциальным. Все спало, точно не было и в помине грохота и столпотворения в каких-то двухстах метрах отсюда. Лишь одно окно теплилось под самой кровлей высокого здания, и с легким шумом внезапно пришли в движение выгнутые ввысь кроны трех пирамидальных тополей — вот уж не знал, что они есть в Москве. Треща без умолку и волнуяще обдавая меня справа вином и парфюмерией, длинноногая незнакомка уверенно толкнула дверь в железной изгороди вокруг какого-то казенного двора, по всей видимости, школьного.

— А я, короче, смотрю, стоит-пригорюнился такой папашка невеселый, рот кривит.

В темноте и вполоборота она снова разительно напоминала Аню, и я искоса приглядывался к ней с беспокойством и жадностью. Не хватало лишь любимого пришепетывания ее трескотне, где наречие “короче” употреблялось с частотой артикля. Мы обогнули темное здание, и моя проводница остановилась и, кивнув на лавочку под кустами, сказала:

— Ну что, приступили-начали?

— А вы не могли бы?.. — тихо попросил я и приложил указательный палец к ее губам — прикосновение, могущее быть истолкованным и как призыв к молчанию...

Но проститутка поняла меня лучше меня самого:

— Без проблем, папашка, любой каприз за ваши деньги, но деньги вперед.

Мельком подвергнув экспертизе, она спрятала протянутую ей купюру в сумочку, споро опустила на корточки вплотную ко мне, одним ловким движением ослабила мой брючный ремень и наконец смолкла... — зато у вашего покорного слуги прорезался голос.

Когда я отклекотал и пляшущими руками извлекал из пачки сигарету, моя юная любовница предложила (сидя на краю лавочки, она деловито обводила рот губной помадой):

— У меня есть и постоянная клиентура. Короче, дашь телефон — позвоню как-нибудь, если охота, конечно.

— Конечно, — сказал я, выудил из внутреннего кармана пиджака авторучку и передал ей.

— Плюс такси до тебя. А если трубку берет жена? Тогда, короче, отбой? — спросила девушка, отвесив фамильярный щелчок моему обручальному кольцу.

О Ларисе я и не подумал, старый дурак! И в одну минуту по какому-то наитию свыше я продиктовал разбойнице Анин телефон, зарифмованный абы как, во времена, когда милой шлюхи моей и на свете еще не было, — полезная все-таки вещь мнемонические куплеты, даже неоконченные!

Могу себе представить эти душераздирающие, знакомые наизусть звуковые сигналы — в давным-давно покинутом жилище, да и взывающие, как выяснилось уже на следующий день, к покойнице! Этаким судный зуммер, “короче”...

Той ночью я крепко спал, и мне приснилась Аня. Нарядная, в ярком-ярком макияже, страшно красивая, она сидела нога на ногу и смотрела на меня с весельем и нежностью — как никогда прежде не смотрела. И я сказал ей:

— Ты очень хорошо выглядишь, а ведь много времени прошло. Наверное, тебе живется легко.

В ответ она улыбнулась и кончиками пальцев толкнула свое красивое лицо в подбородок — и оно качнулось вбок, как маска на гвозде или маятник, поскольку оказалось нарисованным и плоским.

С сомкнутыми веками я свесил ноги с дивана, замычал спросонья, с усилием разлепил глаза, отрывочно вспомнил вчерашнее, проснулся окончательно, окинул взглядом свои манатки на стуле, брошенные с вечера как попало, — и хватился портфеля. Мне очень жаль стало Аринино подарка, а содержимое... — шут бы с ним со всем. Два-три авторских экземпляра моей пресловутой книжицы — вечный упор-присев, несчастная графоманская боевая готовность: а вдруг? Что, спрашивается, вдруг? Ну, и подаренный на презентации фолиант — галиматья на финской бумаге. Словом, ничего такого, о

чем бы следовало жалеть. Но собственно портфеля жалко: вещь. И я поехал на авось: чем черт не шутит.

Складывалось впечатление, что не я протрезвел — Тверская протрезвела: постная сутолока при сереньком дневном освещении не желала иметь ничего общего с ночным шабашем. Улица-оборотень — не иначе! Нырнув под арку на Дегтярном, я быстро нашел глазами три пирамидальных кроны, а там и школьный двор на задах аргентинского посольства. Я робко заглянул за и под скамью, обшарил для порядка ближайшие кусты — безрезультатно. Долговызые недоросли, матерясь на чем свет стоит, пинали о стену вялый мяч, и разве бледная немочь втоптанная в мокрую после вчерашнего дождя глину презервативов б/у давала знать яснее ясного, что место это облюбовано для утешения от невзгод бытия не мною одним. И “папашка” несолоно хлебавши поплелся на “встречу с читателями”, где и узнал об Аниной смерти.

Кто ты, что ты, почему ты? Холод карабкается все выше, под самое сердце. И что-то внутри опасливо сторонится, отказывается понимать, пьтится, как княжна Тараканова в Третьяковке.


Или вот еще нарядное сравнение: оса в бутылке. Ныть до изнеможения, колотясь о стеклянную твердь, одну и ту же песенку над тем немногим, что осталось от товарищей по случившемуся. А вокруг — пусто, гулко, прозрачно, узнаваемо до боли.

Сгодится и общепринятая белка в колесе. Оно и кстати, потому что в данный момент я как раз истоиво верчу педали велотренажера — ни на йоту не трогаясь с места. *Колесо оборзения* (нет, я все-таки неистощим на калямбуры!).

Но как бы я ни усердствовал — брюхо не убывает и неизменен маршрут ежедневного странствия, известный мне в мельчайших подробностях, как лесопарк за нашим кварталом, где я дважды в день выгуливаю старенького пикенеса Яшку (полное имя Ямб).

Вот и нынешний день пройдет по-заведенному, как большинство моих дней: как и завтрашний, и послезавтрашний — далее везде; он вполне обзорим, и прилежно всматриваться из-под руки в его даль нет надобности. По инерции продолжу я шлифовать комментарии к тому Чи-грашова; многократно оторвут меня от работы телефонные звонки; большая их часть адресована дочери, следом за ней по популярности идет жена, а на мою долю приходится один-другой звонок в сутки — все больше профессионального свойства. Ровно в три пополудни с завидной точностью у меня подведет живот, и я наспех отобедаю в кухне — стоя у плиты и поглощая какую-нибудь немудрящую яичницу с колбасой прямо со сковородки. Скорей бы, что ли, возвращалось семейство из Турции: холостяцкий быт не по мне. Потом еще два-три часа за письменным столом, глядишь, уже и вечер — пора смотреть по телевизору десятичасовые новости, спорт, прогноз погоды. Осталось всего-ничего: пройтись на сон грядущий с песиком туда-обратно по куцей аллейке посреди зеленых насаждений, подступающих вплотную к нашему микрорайону. Да, Яшка? Яшка гулятьеньки хочет?

А там и на боковую пора. Со снотворным или без? — вот в чем вопрос! Зычно трубят боевые слоны бессонницы. Bravo, Криворотов, красиво сказано!

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА

СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ

< Н Р З Б >



Директор издательства В. Горностаева

Художник А. Бондаренко

Ответственный редактор Е. Пучкова

Корректор Г. Володина

Компьютерная верстка В. Домогацких

Изд. лиц. ИД № 02194 от 30.06.2000

Изд. лиц. ИД № 05296 от 06.07.2001 (НФ «Пушкинская библиотека»)

Подписано в печать 28.02.2002. Формат 84x108¹/₃₂.

Бумага Classic. Гарнитура «Бодони».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,08.

Уч.-изд. л. 8,23. Тираж 5 000 экз. Заказ № 121.

Издательство «Иностранка»
109017, Москва, Пятницкая ул., 41

НФ «Пушкинская библиотека»
129110, Москва, Напрудный пер., д. 15, стр. 1

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

Серия

**“ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ”,
составленная Б.Акуниным, —**

это самые яркие произведения
самых знаменитых зарубежных беллетристов,
выпускаемые издательством “ИНОСТРАНКА”
под девизом
**СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД
К НЕСЕРЬЕЗНОМУ ЖАНРУ.**

В серии “ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ”

вышли:

Артурос Перес-Реверте
“Клуб Дюма, или Тень Ришелье”

Джулиан Рэтбоун
“Короли Альбиона”

Ингрид Ноль
“Аптекарьша”

Элизабет Джордж
“Расплата кровью”

Серия

“ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ”,
составленная Б.Акуниным, —

это самые яркие произведения
самых знаменитых зарубежных беллетристов,
выпускаемые издательством “ИНОСТРАНКА”
под девизом
СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД
К НЕСЕРЬЕЗНОМУ ЖАНРУ.

В серии “ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ”

вышли:

Элизабет Джордж
“Великое избавление”

Иэн Рэнкин
“Крестики-нолики”

Роберт ван Гулик
“Убийство по-китайски: Смертоносные гвозди”

Сара Дюнап
“Родимые пятна”

Серия

**“ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ”,
составленная Б.Акуниным, —**

**это самые яркие произведения
самых знаменитых зарубежных беллетристов,
выпускаемые издательством “ИНОСТРАНКА”
под девизом
СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД
К НЕСЕРЬЕЗНОМУ ЖАНРУ.**

В серии “ ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ”

выходят:

**Буби Сурандер
“Время действовать”**

**Росс Макдональд
“Беда идет по следу”**

**Вэл Микдермид
“Охотник за теньями”**

**Вольф Хаас
“Приди, сладкая смерть”**

Серия

“ИЛЛЮМИНАТОР” —

это лучшие произведения
мировой литературы
в лучших переводах,
выполненных мастерами
отечественной переводческой школы
для журнала “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”
и издательства “ИНОСТРАНКА”.

В серии “ИЛЛЮМИНАТОР”

вышли:

- 040 Богумил Грабал
“Я обслуживал английского короля”
перев. Д. Прошунной
- 041 Пол Теру
“Моя другая жизнь”
*перев. С. Белова, О. Варшавер, И. Стам,
Г. Швейника, И. Янской*
- 042 Ивлин Во
“Возвращение в Брайдхед”
перев. И. Бернштейн

Серия

“ИЛЛЮМИНАТОР” —

это лучшие произведения
мировой литературы
в лучших переводах,
выполненных мастерами
отечественной переводческой школы
для журнала “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”
и издательства “ИНОСТРАНКА”.

В серии “ИЛЛЮМИНАТОР”

выходят:

- 043 Питер Акройд
“Повесть о Платоне”
перев. Л. Мотылева
- 044 Дэвид Лодж
“Райские новости”
перев. Е. Дод
- 045 Хорхе Семпрун
“Нечаев вернулся”
перев. И. Кузнецовой, Г. Зингера
- 046 Пол Теру
“Коулун Тонг”
перев. С. Силаковой

Серия

“ЗА ИЛЛЮМИНАТОРОМ” —

это “ИЛЛЮМИНАТОР” нового века.
Издательство “ИНОСТРАНКА”
представляет книги молодых
зарубежных писателей, уже завоевавших мировое
признание и претендующих
на то, чтобы завтра стать классиками

В серии “ЗА ИЛЛЮМИНАТОРОМ”

выходят:

002 Джозеф О’Коннор
“Ковбой и индейцы”
перев. Н. Васильевой

003 Ханиф Курейши
“Будда из пригорода”
перев. Д. Крупской

006 Николае Блинку
“Наркосвященник”
перев. Ш. Валиева

И в последок отверженный оборачивается в двери
(теперь смотри во все глаза!), чтобы запечатлеть
горе-горькое на веки-вечные. Что он видит в данный
момент, что заучивает наизусть, про запас — настоящее
будущее, ближайшее и отдаленное? Бледнеющую
утреннюю темноту, смутное постельное белое
и — светло-белое на смутно-белом — неправдо-
подобную наготу. Что еще? Темноты “внизу
живота”, по счастливому выражению нашего
поэта, как раз и не видно, потому что натур-
щица памяти позирует, сидя нога на ногу.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

А видит он едва брезжащее лицо в
обрамлении стрижки каре и пуно-
вый уголек сигареты, пожалуй,
это основное. В полуоткрытое
окно доносится неразборчивый
за дальностью брех диспетчера
с расположенной по соседству
сортировочной станции ж/д.
За окном тихо шумит первый
троллейбус, и тень его
“усов” пересекает озарен-
ный выцветающими
(что верно — то верно!)
уличными фонарями
потолок комнаты, по-
кидаемой навсегда.

